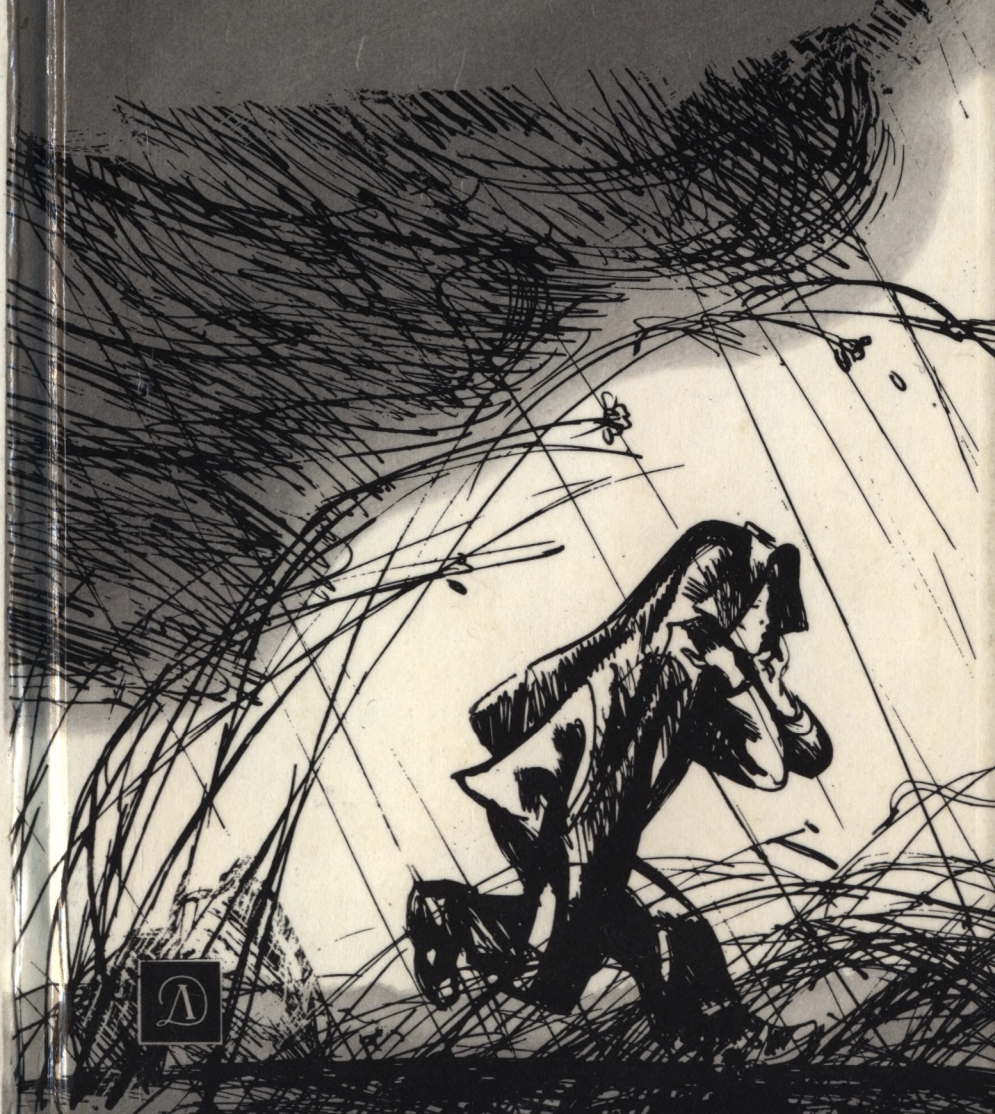


Л Е В К У З Ъ М И Н

Салют в Стрижатах







Л Е В К У З Ъ М И Н

Салют в Стрижатах

РАССКАЗЫ



МОСКВА

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ББК 84Р7

К89

Художник

Е. Грибов

Кузьмин Л. И.

К89 Салют в Стрижатах: Рассказы/Худож. Е. Грибов.— М.: Дет. лит., 1990.— 96 с.: ил.

ISBN 5—08—001531—4

Рассказы о трудном военном детстве сельского мальчика, о том, как ему пришлось работать, чтобы помочь семье, о его друзьях-товарищах и о том, как он встретил День Победы на маленьком полустанке под названием Стрижата.

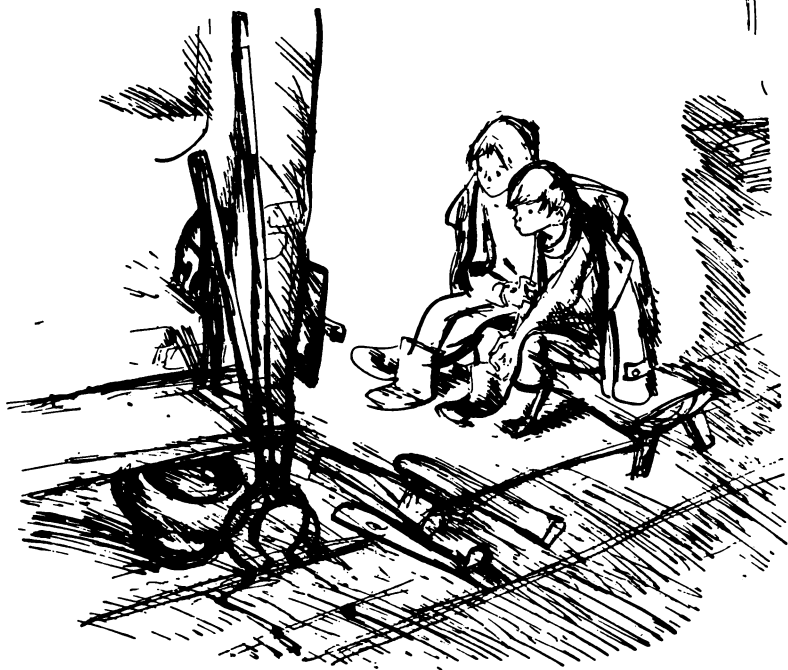
К $\frac{4803010102-210}{M101(03)-90}$ 228—90

ББК 84Р7

ISBN 5—08—001531—4

© Лев Кузьмин. Текст. 1990

© Е. Грибов. Рисунки. 1990



Попутчик

Декабрьский день начинает заниматься едва-едва. Лесные дали темны, небо серо, белые поля по обеим сторонам дороги пустыньны. Время суровое, военное. И расхаживать, путешествовать по сельским дорогам без особого дела некому. Но тем не менее я, подросток, волоча за собою в детских санках не очень тяжёлую поклажу, что ни шаг, то пугливо озираюсь.

Поклажа у меня не грузная, да ей нет цены. Там, увязанная в старую простыню и накрытая сверху заплатанной мешковиной, мамина единственная-распоединственная шубка. Я везу её в деревню к нашей родственнице тёте Асте. Во внутреннем кармане моего собственного пальтеца

лежит записка. Что в ней сказано, я помню наизусть. Бледными чернилами маминой рукой там выведено: «Астя, милая! Договорись с кем-нибудь из деревенских поменять шубку на крупу, на муку или хоть на что... Поддержи нас с ребятами!»

На такую записку и на этот мой поход мама решилась ещё вчера с вечера. Случилось это вот как.

Пришёл я из школы, мамы дома нет, возле комнатной печки на низкой скамье сидят, как два воробья, мои брат да сестра — Вовка с Галькой. Вовке только-только наметился четвёртый год, Гальке полных шесть.

Сквозь круглые дырки в печной дверце видно: синеют, краснеют в топке угольные огоньки, печка совсем недавно протопилась.

Я на Гальку, на Вовку напустился сразу:

— Кто позволил огонь самим разжигать?

— Так мы озябли, и есть очень хочется, — отвечают малыши.

— Хочется... Вам вечно чего-нибудь хочется! Терпеть не умеете! — выговариваю я малышам, да мигом и жалею: — От огня, конечно, тепло, а сытей всё ж таки не будет... Как хоть трубу-то сумели открыть?

— Галя поставила табуретку, потом ещё табуретку — и открыла, — говорит Вовка.

Говорит, а сам всё со скамейки нагибается, заглядывает в сквозную дырку печной дверцы. Заглядывает туда, где мелькают угасающие блики совсем крохотных теперь углей.

Я защёлку дверцы поворачиваю, дверцу распахиваю настежь. Смотрю в печное жерло и удивляюсь. У самого края топки теснится закоптёлая алюминиевая кастрюлька. В этой кастрюльке в лучшую нашу пору мама варила нам манную кашу. Но теперь о манной каше и думать

бесполезно, да всё равно там в печи, в кастрюльке, что-то белеет.

Я глазам не верю:

— Что это там, ребята, у вас?

Галька хихикнула, отвернувшись, локтем показала на Вовку:

— Это всё он... Это выдумка его!

Я так с ходу палец в кастрюльку и сунул. Я палец обмакнул и отдернул, но не потому, что мой палец обдало крутым кипятком, а оттого, что охватило его снеговым, влажным холодом.

Кастрюлька в самом деле была полна плотного, льдистого, слегка лишь подталого снега.

— Зачем? Воды разве в доме нет? Я утром с колонки два ведра приносил!

Вовка пыхтит, нахмурился:

— Это, Лёва, может быть, совсем и не вода теперь... Это, Лёва, может быть, получится молоко. Я хочу молока, а снег — он, как молоко, белый.

В горле у меня сразу будто снежный тоже, холодный ком.

Мне от жалости ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я Вовку обнимаю за тощую, тонкую спину, жму поближе к себе.

— Чудачина ты, Вова... Из снега, сколь ни старайся, ни капли молока не вытаешь. А вот придёт мама, откроет голбец, достанет картошки, и мы поужинаем. Правда, печку придётся топить во второй раз. Но хорошо, хоть дрова у нас есть. Ладно хоть, в школе дров маме выдали, а то бы мы бедовали ещё пуще.

Мама у нас работает в станционной железнодорожной школе учительницей, и дрова в эту жестокую зиму кто-то из путейского здешнего начальства сумел всё-таки выдать учителям. Благо, лес-то рядом, да и паровозы ходят теперь не только на каменном угле, а и на дровах. Что же касается прочего, особенно насчёт питания, так

тут никакой даже самый мудрый, самый главный начальник нас выручить не в силах. Хлеб получаем мы по норме, по карточкам, а норма такова: Вовке нашему и то на одну поедушку. Держимся мы главным образом на картошке, что осталась с осени с маленького нашего огородца.

Огородец был невелик оттого, что никто ведь из нас заранее не ведал, что грянет война. Знали бы, так посадки затеяли бы побольше, а теперь — что есть, то и есть. Теперь наш приварок с огородца, эту нашу милую картошечку, приходилось распределять в каждый завтрак, в каждый обед, в каждый ужин по штукам. Вовке — три штуки, Гальке — три штуки, мне — три, и мама себе брала только такой же пай...

И вот в тот вечер, когда Вовка по малолетству и по голодухе вздумал переплавить снег на молоко, у нас была ещё одна горькая минута.

Мама пришла из школы, мама велела снова печку затапливать, взяла в руки кухонный чугунок, открыла голбец, слезла вниз по приступкам за картошкой.

Я притащил со двора новую охапку дров, потом открыл печь, вынул оттуда Вовкину, теперь уже тёплую кастрюлю со снеговой водой.

Кастрюлю я сразу запрятал как можно дальше, чтобы мама не увидела да не принялась выяснять, в чём дело, не начала расстраиваться. А мама из голбца поднялась, и вид у неё расстроенный и без того.

— Ну, ребята,— говорит она,— в последний раз положила в чугунок по три картошины... С завтрашнего дня придётся порцию убавлять.

И, с чугуном в руках, даже забыв налить в него воду, забыв о растопленной печке, мама так горько, так крепко задумалась, что и мы сами тихо, грустно принялись глядеть то на маму, то на полупустой чугунок с картошкой.

А затем вот и получилось, что сегодня рано, ещё в предутренних потёмках, мама снарядила меня в этот поход. Да не только снарядила, а и пошла провожать через всю спящую в снегах нашу станцию.

Сначала санки с упакованной на них шубкой мама везла сама. Одета она была теперь в осеннее тонкое пальто, для тепла обвязалась через голову и в опояску старой, длинной шалью. Из-за туго затянутой шали маме поворачиваться неловко. Ей трудно на меня поглядывать, но она мне в лицо засматривает и засматривает:

— Дорога дальняя, тридцать километров. Только ты всё равно иди, не останавливайся. Не садись, не отдыхай. Иначе уснёшь, замёрзнешь... Я бы пошла сама, да взрослым сейчас отпусков не дают ни на какой работе. Нигде. В школе тоже. До войны нас, учителей, была полна учительская, теперь — почти пусто. Одни, как я, женщины... А на поход в деревню к тёте Асте надо: день туда, день обратно, не меньше суток там, у деревенских. Единственная сейчас надежда, Лёвушка, на тебя. О тебе-то я с твоей учительницей как-нибудь договорюсь.

Мы идём вдоль тихого посёлка, вдоль тесных железнодорожных путей, заполненных эшелонами с танками, с пушками, с наглухо закрытыми товарными вагонами. У выходных стрелок пыхтят паровозы. И всё это — в чёрно-белой морозной мгле. Огней на путях, даже на паровозах, нет. Вся станция соблюдает светомаскировку.

От слабо прибелённой снегом темноты, от того, что во мраке так и кажется, что с чёрных паровозов, с танковых башен за нами следит кто-то хмурый, настроение моё никудашно.

Пока я недавно одевался, обувался, собирался в поход, пока был в доме, то о предстоящем путешествии думалось проще. К тому же дорога



моя мне известна хорошо: до войны я в деревню с мамой хаживал не раз... Но теперь вот на холодной улице, под холодным, без единой звезды небом я и рядом-то с мамой чувствую себя почти потерянным, а впереди ещё пустые поля, дремучие леса.

Вдобавок ко всему мама говорит:

— Через Парфеньево большой дорогой не ходи, ступай просёлками... Просёлками ближе, да и меньше разных встречных-поперечных... А то мало ли что! Время лихое, недоброе, чужой глаз тебе ни к чему... На всякий случай про поклажу



в санках не объясняйся ни с кем. Говори: мешки, мол, пустые, совсем старые, возвращаем деревенской тётушке...

Такими наказаниями мама храбрости мне не прибавляет, а добивается только того, что и сама вдруг себя лишает решимости. Санки тормозит, встаёт:

— Ох! Может, поход отменим? Может, пока перебьёмся? А потом, глядишь, я небольшой отпуск всё же выпрошу... С кем-нибудь подменюсь уроками.

Но перед ней, оробелой, растерянной, мне

сдаваться нельзя. Мне отступить теперь неловко. Я призываю себе на подмогу всю свою собственную мальчишечью гордость:

— Нет, нет и нет! Как будут тогда Галинка с Вовкой? Они перебиваться не умеют... Давай возвращайся, мама, к ним, потом беги на уроки, а я — пошёл!

Мама обречённо вздыхает и около тёмной стрелочной будки наверху железнодорожного переезда со мною прощается.

Когда отбираю у неё верёвочку санок, когда спускаюсь по наклонной дороге с переезда, то она долго глядит мне вслед.

Потом спохватывается, кричит издали:

— Затирушку не оброни! Она у тебя на весь путь единственная.

Я тоже машу: «Не оброню, будь спокойна!» — и вот шагаю, волоку санки по едва приметной белой дороге всё тёмным полем да полем.

На ходу трогаю в кармане тряпичный свёрток с той затирушкой. Каким чудом мама затирушку сотворила, мне неизвестно. Затирушка — это та же самая картошка, только сырая, тёртая, испечённая на углях, на сковороде лепёхой. А любое пёчево надо подмазывать маслом или хотя бы маргарином. И где мама раздобыла подмазку — мамин собственный секрет. Может, где-то в каком-то тайнике у неё и хранилась совсем малая кроха масла, да я допытываться не стал. К тому же как было допытываться? Ведь затирушку мама сунула мне на кухне перед самой дорогой тайком от ребятишек. Сунула, шепнула:

— На! Скорей убери! Да сразу в пути не ешь... На полдороге скушай. Иначе после нашего тощенького завтрака у тебя до тёти Асти, до деревни может не хватить силёнок.

И я иду, озираюсь, а сам всё думаю про затирушку. А сам всё прибавляю хода, чтобы

скорей достичь половины пути. Рот заранее наполняется сладкою слюной. Затирушка, даже ещё не съеденная, как бы взбадривает меня, как бы помогает волочь резвей санки.

Идти с санками пока что не трудно. Кто-то более ранний, чем я сам, по дороге проехал на широких розвальнях, на конной подводе, и когда хмурое утро начинает наконец развидняться, то и чёткий след полозьев через всю снеговую равнину до самой-самой кромки леса на горизонте наливается тоже чётким, лёгким светом.

Открытый взгляду простор настроения добавляет. Ну а тут ещё круче взыгрывает мой аппетит. И хотя я помню наказ мамы — затирушку как можно дольше не трогать, я всё думаю и думаю: «Вот кончится широкое поле, войду в уютную лесную просеку и под какой-нибудь ёлочкой-шалашиком затирушку отведаю». Картофельно-масляный дух нестерпим, он слышен сквозь пальто, сквозь тряпицу за пазухой...

Иду, мечтаю, санки тащу. Лесная, среди заснеженных деревьев просека близка совсем. Мне уже хорошо видны на каждой отдельной ветке белые, комоватые пуховики, я вбираю лесной, сдобренный морозом воздух.

Вдруг то ли по предчувствию какому, то ли ещё почему — оглядываюсь. А по белой равнине, по зимней дороге вдогон мне спешит человек!

Кто он такой — из-за дали не рассмотреть. Да всё равно ясно: он взрослый. Да всё равно понятно: он шагает куда меня быстрее, — возможно, гонится с умыслом.

Тут в голове замелькали мамины наставления о встречах-поперечных. Тут я вспоминаю мамины слова о лихих временах и, дёргая санки, припускаю дальше и дальше по узкой просеке, потому как другого хода мне больше уж нет.

Я несусь опрометью. Я несусь так, что санки

сзади едва успевают брякать по снеговым кочкам, да вот ноги в расхлябанных, в растоптанных валенках скоро стали заплетаться, воздух из морозного сделался жарким, нечем стало дышать. А тот — большой, ходкий — настигает и настигает... Он кричит почти рядом, почти за моей спиной:

— Эй, друг! Эй, пацан! Ну какого чёрта задаёшь дёру?

Голос басовитый, громкий, но вроде бы не опасный. Вроде как даже со смешинкой. Я ход сбавляю, опять гляжу через плечо, а у самых саночек, у запяток... солдат!

— Какого лешего драпаешь?! — бранится он, отпыхивается не тише меня.

И зимняя шапка его с алой звёздочкой, и туго застёгнутый ворот шинели — всё, всё вокруг лица закуржавело колким инеем от быстрого на морозе дыхания.

Я как разглядел, что это солдат со звёздочкой, так сразу на месте и встал. Я вытаращился на солдата с таким, наверное, нелепейшим выражением, что он засмеялся:

— Ну вот, то улепётываешь, а теперь застыл, будто перед новыми воротами... Рот хоть захлопни!

Я рот захлопываю, машинально утираю губы варежкой, лишь после этого прихожу полностью в себя.

Солдат отдувается, шевелит плечами. Кособоко, неловко, одною рукой поправляет лямки не слишком-то объёмистой котомки, и только сейчас я вижу: другая рука солдата — в бинтах. Из-под шинельного обшлага торчит куклой когда-то, конечно, светлая, а теперь серая повязка.

Да и сам солдат тоже в повидавшей всякие виды, в прожжённой там и тут шинели не очень строен, не очень брав. Лишь звёздочка на по-

грёпанной шапке-ушанке горит напористо и голос у солдата весел:

— Ох, и бегать ты, парень, мастак! Я почти от станции жму за тобой, а ты — на вон — удавился сдавать кросс... Теперь — всё! Теперь не убежишь! Теперь закурим.

— Так я не курю, — отвечаю я.

— Молодец! Не куришь — и не начинай. Только вот мне, куряке, скажи, куда деваться?

И теперь, когда лицо его успокоилось, я вижу, что он ещё и далеко не молод. Лицо в резких, глубоких морщинах. Лицо всё до коричневой смуглоты обветренное, только незагорелые бородки, будто гусиные лапки, разбегаются от серых, усмешливых глаз к вискам.

Солдат всё так же одною рукою выкидывает из шинельного кармана пару трёхпалых, армейских перчаток. Бросает перчатки прямо на мёрзлую санную дорогу. Опять в глубокий карман лезет, тянет оттуда за шнурок-завязку кожаный кисет. Потом приседает на корточки, пристраивает кисет меж колен, и вот на правом колене да с помощью правой руки им уже ловко скатана, наполнена жёлтой махоркой бумажная папироска.

И вот она у солдата в уголку рта. От этого рот кривится ещё ухмылистей. А мне солдат протягивает на ладони угловатый камушек-ремень, стальное кресало, обгорелый фитиль. Вместе всё это, я знаю, называется вполущутку-вполусерьёз «катюшей». Самодельная «катюша» заменяет спички.

— А ну, — говорит солдат, — дай боевой залп! Для того тебя и догонял. Мне, как видишь, пока что несподручно.

Нам, школьникам-пацанам, такая зажигательная система известна куда как хорошо. У меня имеется собственная, не хуже солдатской. Я очень лихо отставляю в стороны оба своих



локтя, бью сталью по кремню раз, бью два, искры летят, шипят, фитиль источает едкий дым.

Солдат осторожно, щепоткой фитиль у меня берёт, жмурится, прикуривает:

— Наконец-то! Теперь душеньку отведу...

Дальше мы шагаем бок о бок, как настоящие приятели. И солдат уже участливо слушает, куда я иду, зачем иду; не скрываю я ничего даже про свой груз на санках. Солдат же мне весело сообщает, что торопится на кратковременную побывку в здешние края, в родную, залесную, стоящую на отвёртке от этой дороги деревеньку Спицыно. Ну а это означает, что нам вместе шагать ещё да шагать!

И мне с ним, конечно, идти в охотку. Да только не очень понятно, как так солдат-фронтвик получил хотя и краткий, но отпуск. Вот моей маме, школьной работнице, про отпуск и думать нельзя, а фронтовику, выходит, можно.

Сомнение пробую снять сразу прямым вопросом. Забегая с санками чуть наперёд, запрокидываю голову, смотрю солдату в глаза, тут же киваю на забинтованную руку:

— По ранению отпустили-то?

Солдат шагает, папироской дымит. Чуть пренебрежительно, но и осторожно больную руку приподымает:

— Ранение — пустяк! С таким ранением ещё малость — и айда вновь на прежнее место, на передовушку... С таким ранением никто солдата домашней побывкой баловать не станет. А дали мне сутки сюда, сутки обратно за то, что немецкому танку башку смахнул.

— Как смахнул? Чем?! — ахаю я.

Солдат смеётся:

— Знамо дело, не ладошкой!

И тут своего попутчика я не только уважаю, я в него влюблён. Да только объяснить ему

нипочём, конечно, не могу. Делаю лишь одно: стараюсь не отставать. Стараюсь, чтобы ходкий, торопливый мой попутчик вдруг не сказал:

«Ну, теперь ты слышал, что у меня времени на побывку в обрез? Так давай или жми со мной наравне, или давай скажем друг дружке: «Прости-прощай!»

А прощаться, хотя бы до отворота в Спицыно, мне очень и очень не хочется. И я выжимаю из себя последние силы, я вопросов дальнейших солдату не задаю, берегу дыхание.

Но хочу не хочу, а дыхание скоро начинает подводить. Мне опять жарко. В голове туман, ноги опять дрожат. Думы мои невольно переключаются на затирушку в кармане. Вот бы теперь её как раз мне и вынуть, вот бы теперь её и съесть, и силы у меня бы прибывло... Но как достанешь при попутчике, при свидетеле? Тогда ведь надо делиться, а затирушка невелика, от её скудной половинки мне пользы будет мало...

Шагаю я теперь с солдатом уже не вровень, шагаю позади — след ему в след. Санки как-то странно погрузнели, стали заметно мешать. Держусь я, гоню себя за солдатом лишь страшным усилием воли, да и воля становится всё слабей.

На солдата я теперь не смотрю. Не замечаю заиндевелых сосен по краям узкой дороги, слежу лишь, опустив тяжёлую голову, как мелькают впереди меня сношенные каблуки солдатских кирзачей, и стараюсь переступить сам вот так же широко, часто.

Но темп теряю. И когда последняя капля моего упорства кончилась, солдат неожиданно замер на месте:

— Спицыно! Вон там за повёрткой, за лесом моё Спицыно!

Откроюсь честно: слова такие я услышал с великим для себя облегчением.

— Вот и ладно...— не подымая глаз, шепчу едва-едва и плюхаюсь задом на санки, на мягкую поклажу.

А солдат топчется, мешкает, он говорит:

— Чёрт! Сердце от переживания ходит ходуном... У меня ведь дома тоже мальчишонок Сашка есть, да маленькая Нюрка есть, и жена Лидия Николаевна... Помоги мне напоследок прикурить ещё раз.

Опять приседает на корточки, достаёт кисет, опять вручает мне «катюшу».

Я ширкаю по кремню кресалом, но искры почти не летят.

Тогда солдат пристально следит за моими неловкими руками, говорит тревожно:

— Э-э... Что-то с тобой не то...— А когда он глянул на меня в упор, то так весь и всколыхнулся: — Ёлки-моталки! Да на тебе лица нет... Что стряслось?

— Устал...— еле-еле отвечаю, а сам всё кресалом понапрасну ширкаю, тюкаю, по кремню скребу.— Сейчас,— говорю,— сейчас... Половчее возьмусь, искру тебе высеку, пойду дальше...

— Вряд ли пойдёшь,— качает с сомнением головой солдат,— вряд ли! Сначала, пожалуй, чего-нито надо тебе съесть... У тебя в запасе хоть что-то имеется?

— Нет,— отвечаю,— не имеется...

Отвечаю так, оттого что в мыслях: «Теперь признаваться не надо совсем. Солдат уйдёт, затирушка мне достанется целиком».

Солдат же, к моему удивлению, стараясь не задеть больную забинтованную руку, стаскивает с заплечий невеликую свою котомку, торопливо сдёргивает с неё лямочный узел, поспешно говорит:

— На саночках-то подвиньсь...

Я подвигаюсь, он усаживается рядом. Садит-

ся, сильно теснит меня, шарит по дну котомки да сразу и суёт мне целую, совсем-совсем не початую буханку хлеба. Я так весь и обмер! И прозатирушку собственную забыл вмиг напрочь! Я в своих-то руках целой-то, никем ещё не резанной буханки не держивал почти с первого дня войны.

А солдат подаёт остроносый нож:

— Режь! Да сколько надо — ешь! — И тут же нож отнимает: — Погоди!

Шарит опять в почти опустевшей котомке — на ладони у него оказывается жестяная, чуть побольше стакана, банка.

Сдвинув плотно ноги, солдат зажимает банку меж кирзовых сапог, стискивает её краями тугих резиновых подмётков, вспарывает маслянистое донце банки остриём ножа, и над белою дорогой, над всем, наверное, зимним бором поплыл нестерпимо вкусный, щедро сдобренный лавровым листом и острым перцем мясной дух.

Что было со мною — невозможно говорить. Скажу только: не от бессилия, а от полной теперь изумлённости я собственноручно-то от буханки даже малого ломтика не смог отрезать. Солдат, действуя коленями и своею правой, сам отвалил для меня изрядную горбушку, сам вывернул из банки добрый шмат мяса, положил, размазал ножом по горбушке:

— Подкрепляйся! Глазами не хлопай зря!

И я не хлопал. Я ел и ел так, что за ушами пищало, а он мне всё равно добавлял. Я ел, а он — добавлял.

Когда же я наконец от еды отвалился, когда просипел: «Спасибо!» — он почти в точности повторил мамины утренние напутственные слова:

— Не вздумай теперь расслаживаться на сачочках... Одолеет сон — застынешь! А вот выстукай мне огонька да и шуруй ходом, ходом по своему направлению...

Огонька ему теперь я выстукал довольно быстро. Он прикурил, бросил в котомку сильно початую буханку, сунул поверх кисета в шинельный карман полуопустошённую жестянку с тушёнкой, махнул мне:

— Марш, приятель, марш... Не топчись.

И я двинулся в дальнейший путь. Сначала мне шагать было неохота, тяжело. Но подкреплённому, отлично накормленному лишь бы начать переставлять ноги, а там они понесут, разойдутся, — и они меня понесли.

Сугробная в лесу просека вместе с дорогой стала забирать вбок, и напоследок я оглянулся.

Я хотел подать солдату какой-нибудь прощальный знак, даже, может, крикнуть во второй раз: «Спасибо!» — да там, где он только что остался, его уже не было. Там лишь утопали в снегах тихие деревья. А сам он, надо полагать, шёл теперь во всю прыть по своей, теперь отдельной дороге во своё Спицыно и, наверное, высчитывал торопливо, сколько ему из отпусковых, коротких часов осталось на всё про всё.

Я опустил поднятую напрасно руку, мимолётно задел нагрудный отворот пальтеца и... вспомнил про утаённую затирушку.

Вспомнил, вздрогнул, по лицу полыхнул жар.

В сознании вмиг и заново прозвенели слова солдата про его Сашку, про его Ньюку.

В сознании заметалось: «Они, маленькие, поступят сейчас точно так, как поступили бы мои Вовка с Галькой... Сейчас они отца своего встретят, обнимут, но и непременно заглянут к нему в котомку. Они, малыши, будут искать там гостинца, а гостинец ополовинил чужой, неведомый им пацан. Да ладно бы несчастный пацан, отчаянно бедный, а то ведь с лепёшкой за пазухой! С целехонькой лепёшкой-затирушкой, ароматной, хрусткой...»

И я повесил голову. И что было потом, помогла ли мне в своей деревне тётя Астя обменять мамину шубку на продукты, это рассказ уже иной совсем. Это рассказ уже на другую тему, для меня тоже не слишком весёлую, но почему-то менее памятную.

Огонёк

Школу-семилетку я окончил в самый разгар войны и вот решил: «Пойду в трактористы, в колхозные пахари. Там тоже фронт, хотя и трудовой... Ну и конечно,— подумал я,— матери помогу. В доме, кроме меня, младшие брат да сестрёнка, маме одной нас не вытянуть».

Как надумал, так действовать и начал. Загвоздка была только в том: годков-то мне набежало едва четырнадцать. Но тут я пошёл на отчаянное враньё, в отделе кадров машинно-тракторной станции сказал:

— Это у меня лишь справка о рождении потеряна, а так мне давно шестнадцатый!

Кадровичка, сухонькая старушка, пожала плечами:

— Дело не в справке... Кто тебя безо всяких курсов за руль посадит? Никто, ни в жизнь! Да и трактора с трактористами давно в бригадах на пашне... Где ты раньше был?

— В школе был! — не сдаюсь я. И так уговариваю взять хоть каким-нибудь подсобником, что кадровичка не выдерживает, говорит:

— Стукнись к директору...

Что ж, иду к директору.

Стучаться, правда, не пришлось. Дверь к нему чуть ли не настезь. Да и сам он дядька вроде бы ничего. Видно сразу: кто-кто, а уж он-то прошёл через самое фронтовое пламя. Он даже мне моего не очень давнего знакомца, солдата с

той зимней дороги, напомнил. Только изранен куда как шибче. С плеча прямыми складками тянется под ремень гимнастёрки совершенно пустой рукав, а по лицу будто приложено горячей железинкой.

Но брови у него, глаза у него целы — директор смотрит на меня открыто, светло, даже с интересом.

Более того, когда я опять начинаю заливать про справку, он этак одобрительно кивает: продолжай, мол, продолжай, и я напропалую бухаю:

— Думаете, если не кончал курсов, так забуюсь на тракторе? Да я на тракторе езживал не раз!

— Неужто?!

— Факт! С Громовой, с Валентиной. С той, про которую то и дело в нашей районной газете пишут.

— Отлично! — улыбается директор. — Отлично! Хорошо! Лучше некуда! Она, Громова, представь, тоже тут... Приехала из бригады за горючим.

И директор оборачивается к окну, толкает раму, кричит куда-то в пространство мокрого, весеннего двора:

— Валентина! Громова! Всё ждёшь? Всё бузишь? А ну, загляни ко мне, тут знакомый твой объявился.

И опять он мне вроде как даже подмигнул. А я так и присел. Я ведь эту Валентину назвал наобум. Назвал только потому, что она из той, невдали от железной дороги деревни, где мы с мамой жили до войны и откуда Валентина бегала со мной по одной тропке в школу. Но бегала она в классы старшие. Я и тогда ей был никто, лишь сбоку припёка, а теперь вовсе — где-нито на перепутье поздороваемся, да и конец.

Что же касается нашей совместной езды на



тракторе, так и тут я езживал на один-единственный манер. Валентина рулит, бывало, на своём шипастом ХТЗ по деревне, а ты, как стриж, вылетаешь из-за угла и, не утруждая себя лишними просьбами, вспрыгиваешь на буксирную скользкую скобу, виснешь там, пока Валентина не обернётся. Ну а когда обернётся, то получай крепкую затрещину...

Вот, собственно, и всё моё с Валентиной приятельство, всё моё с ней трудовое содружество. Вот я в испуге и присел.

Я ёжусь: Валентина войдёт сейчас, про сказки мои услышит, отвесит по старой памяти подзатыльник да и отправит, несолоно хлебавши, меня домой...

А она входит, она тут как тут.

Я глаз на Валентину не поднимаю, я смотрю в пол.

Но от её промасленной спецовки меня так и опаживает тракторной гарью, влажным ветром, просторной улицей.

Валентина сама как быстрый ветер! Она вмиг взяла меня на прицел. А как взяла, так поспешным, сердитым голосом говорит не только то, чего я в перепуге жду, а говорит и то, о чём я не успел ещё и подумать.

— Это вот он, Лёвка-шкет, что ли, хороший мой знакомый? Из-за него меня позвали? Ну и ну! Да таких знакомых — на закорках не перетаскать! Неужто, товарищ директор, это его вы и решили дать мне в сопровождающие? Я, глупая, надеюсь, я жду кого-либо дельного, а вы мне суёте чуть ли не октябрёнка!

Она прямо так и чеканит: «Суёте!» Она меня не стесняется. Да тут директор её же слова повернул очень ловко:

— Предложение, Громова, у тебя — лучше не придумать. Этого парня и бери. Он хоть наплёл

мне тут с целых три короба, да запев соловью не в укор. Я вижу, он малый с огоньком.

Ну а Валентина взвилась — не осадить:

— Вы что? Отшибло память? Забыли, куда мне ехать и с чем? С грузом, с керосином, с бочками весом по центнеру, в самую распродажную бригаду! По нынешней грязище... Я на базе, на заправке, и то едва управилась; ладно, кладовщица помогла, а если на дороге опрокинусь — ваш «огонёк» мне пустое место... Мне надобна ещё одна пара путных рук!

Она раскипятилась так, что подшагнула к столу, ткнула директору чуть ли не под самый нос свои руки: вот, мол, какая нужна пара! Вот, мол, каких крепких! Да тут же налетела глазами на плоско свисающий с плеча директора рукав, осеклась, охнула:

— Простите! — Ступила назад, глянула на мою понурую макушку: — Ладно...

Директор виду не подал никакого. Он только, как бы желая искалеченное плечо скрыть, развернулся боком. Но глядел он в нашу сторону в упор, но сказал твёрдо:

— Правильно, Громова! Пока войне конец не наступит, других помощников нам с тобой ждать не приходится. — Вышел из-за стола, сказал мягче: — Поезжай... Тракторá в бригаде могут без топлива вот-вот встать. Успеешь, Валентина, к вечеру? Сегодня же?

— Надо успеть, — ответила без особого подъёма Валентина, потому что новоявленным помощником, то есть мной, всё равно была, как видно, довольна не слишком-то.

* * *

Так или иначе, а мы уже в пути.

День майский, но погода серая. Весна нынче

затяжная, в такую весну все дороги — сплошная хлябь. Ветерок посвистывает знобко. И хорошо, что мать, когда я собирался в контору, сказала: «Вдруг примут, так надень сразу ватный пиджак. Он хотя окоротал, да для работы ещё гожий...» И я кутаюсь в этот пиджак, сижу обочь суровой Валентины на крыле трактора.

Трактор — всё тот же, давний мой знакомый, довоенного выпуска ХТЗ. Колёса его — железные сплошь. Кроме того, задние, высокие, усажены коваными шипами. Они месят дорожную глину яростно. Да мотор стар, на буксире у нас неуклюжие, бревенчатые, очень похожие на плот сани, к саням приторочены бочки с керосином, — двигаемся мы медленно.

Черепашья скорость раздражает Валентину. Она поддаёт трактору газу. Тот ревмя ревьёт, пускает синий дым. А сани, сгребая густую грязь, кренясь на ухабах, всё равно упираются. Газуй не газуй — толку чуть. Тогда Валентина за всем этим дымом, за всем этим грохотом выговаривает что-то с досадой, я думаю — опять в мой адрес.

Хмурюсь, переживаю, расположить к себе Валентину ничем не могу. Лишь в голову лезут дурацкие мысли: «Вот сани-то мотануло бы покрепче, бочки бы раскатились — и я бы тут и доказал, на что я гож. Я бы сам сказал Валентине строго, а может, и насмешливо: «Не нервничай! Смотри на меня. Ты думала, я слабак, а я — человек подкованный наукой. Ты даже про школу нашу не желаешь со мной повспоминать, а я, между прочим, вышел оттуда с Архимедом в голове. С его рычагами... Вот, глянь: хватаю с дороги первый попавший кол, пихаю под бок бочки — рычаг готов! Раз, два — бочки опять все на месте, на санях... Поехали дальше! Дайте мне во что упереться — и сразу увидите, какой я молодчина!»



Вхожу в роль настолько, что за шаткое тракторное крыло почти не держусь, начинаю проигрывать в лицах свой мысленный подвиг. Шевелю головой, глазами, руками так, что Валентина усмешается, вертит пальцем возле собственного лба: мол, помощничек мой ещё и с приветом!

Я тушуюсь, но не унимаюсь.

Когда перегретый трактор сполз в мокрую низину к тусклому под лохматыми елями бочагу, когда Валентина выключила скорость, потянула из-под ног пустое ведёрко, то я это ведёрко у неё выхватил:

— Сам! Притащу воды сам! И залью в радиатор... Я видывал, я умею.



Бочаг близко. Ноша не тяжёлая. Лишь радиатор трактора для меня высок. До фырчащей, как на горячем самоваре, заглушки мне с земли не дотянуться. Но я карабкаюсь на переднее колесо, цапаю заглушку ладонью, и не успела Валентина меня окликнуть, не успела остеречь — стронутая с места заглушка взлетела пулей в небеса.

Ладонь ожгло свистнувшим паром. Я грохаюсь на землю, сую руку в полное ведро, таращу глаза на Валентину, а она летит с трактора коршуном. Она клянёт всё на свете, особо поминает всяких этаких-разэтаких помощников. Но видит: пятерня моя хотя и красна, да кожа на ней уцелела. Тогда Валентина кричит:

— Где заглушка?

— Вроде бы здесь... Кажется, там...— шарюсь я в расквашенных колеях, ползаю чуть ли не на четвереньках.

А Валентина отыскивала заглушку сама, залила воду в радиатор сама. И тут я от боли, от досады, от своей никчёмности так и заплакал. Без единого звука, конечно, но заплакал.

К освежённо урчащему трактору я повернулся спиной. Смотрю через низину на тёмные на том берегу ёлки, вижу, как справа над красноватым тонколесьем играет на коротких крыльях вечерний летун вальдшнеп, а тихие слёзы унять не могу.

Хорошо, Валентина как будто бы не замечает меня пока.

Она осматривает мотор, проверяет груз, и самую-то горечь я проглатываю в одиночку.

Но всё равно мой тайный всхлип до Валентины как-то долетел. Она, поскрипывая за моей спиной пустым ведёрком, толкает меня в плечо:

— Да ладно уж ты... Да ладно... И сама я виновата! Ещё с дома, с конторы задёргала тебя... Не сердись, не дуйся. Я тоже измоталась. За рулём весь нынешний день, а, гляди, не обернуться нам в бригаду и к ночи. Полезай на своё место...— и тут же добавляет безо всякого снисхождения: — Да когда хватаешься за что, сперва советуйся. Насказал тебе директор про какой-то там твой огонёк, вот ты и суматошничаеть.

— Больше не буду...

Я снова дышу в полную грудь. Я снова восседаю на верхотуре, на железном крыле. На душе отпустило, но теперь очень хочется есть. Во рту у меня с утра ни маковой росинки. Только и Валентина, как видно, терпит давно. Значит, и мне на эту тему думать пока что не положено.

Мы выбираемся на подкрашенные кое-где берёзовым, ещё безлистым, коричневым молодняком луга. Там ширь-простор. Но облачное, вечернее небо хмурится с каждой минутой мрачней, и, отражаясь в холодных львах дороги, оно кажется низким очень. Так и видать: мгlistые тучи вот-вот заденут за наши головы и на всё луговое пространство плотно уляжется ночь.

Двигаемся мы по-прежнему еле-еле. Старикан ХТЗ усердствует, да тяжесть саней не уменьшилась. Меня так и подмывает прыгнуть, пойти с трактором по дороге рядом, дать ему хоть какое-то облегчение. Дать, как дают передышку усталым лошадям на ходу возчики.

И всё же настоящую подмогу ему оказывает лишь Валентина. Она, цепко держась за расхлябанный руль, высматривает среди мутно мерцающих мочажин объезд помелководней; и если объезда не находит, если трактор обрушивается в дорожную топь всем своим железным брюхом, то Валентина вовремя ему подбрасывает газу.

Трактор и мы на нём уплёрсканы грязью по самые макушки. На бочки, на сани не за чем смотреть. С них так и льётся. И не дай бог нам тут застрять, тогда нас не выручит ничто, никто, даже великий изобретатель рычагов Архимед.

А за дорогой следить всё трудней. А сумерки всё гуще. К тому же латаный-перелатаный ХТЗ — без фар. Он слепее слепого. И вот он, бедняга, умолк, остановился, он вязкую тьму не в силах пробить.

Во тьме у дороги шевелятся чёрные кусты, в них ворошится сырой ветер, в остывающем радиаторе булькает вода. У меня от этого бульканья опять затосковала ошпаренная ладонь, а Валентина сказала:

— Всё... Не успели...

Сказала, притихла.

Вновь, должно быть, вспомнила тот, у директора, разговор и добавила:

— Вот тебе и малый с огоньком. Ночевать тут будем с «огоньком»-то твоим...

И, не снимая впотьмах со штурвала рук, привалилась на них, умолкла. Я молчу тоже.

Да и о чём говорить? Обижаться на «огонёк»? На то, что она им всё меня подтыкает? Так ведь не сам я себе это слово присвоил. Сам-то я сейчас не то чтобы огоньком, а сверкающим прожектором бы обернулся, да не в моих такое превращение силах. Какой уж из меня тут прожектор, когда весь мой не очень давний энтузиазм теперь дотлевают, как сырая головешка на холодном ветру.

Вдруг я ожил:

— Валя, Валя! А школу нашу помнишь? Валя, а тропинки после уроков — осенние, ночные — помнишь? Вы, старшие, несёте смоляные факелы; мы, первышата, за вами топаем, не отстаём... И никому в потёмках не страшно, всем до самого дома светло! Нынче деревенские ребята ходят так же. Только факелы зажигают не от спичек, а от кремешка да от кресала... Глянь, у меня они тоже есть!

Я трясую кремешком, желаю, чтобы Валентина потрогала, поверила, да она, навалясь на руль, смотрит в окружающую нас черноту. Отвечает, будто через стенку:

— К чему такие разговоры? Неужто на тебя опять, как на школьника-первышонка, страх напал?

И тут я больше не вытерпливаю, мой возмущённый ор отзвенивает в ночных непроглядных лугах тонким эхом:

— Да что ты заладила: первышонок, первышонок! страх, страх! огонёк, огонёк! Далось тебе... Я толкую: вот и сейчас бы нам факел — и

ты бы за ним рулила, а я бы нёс. Я бы шагал, освещал, а ты бы ехала! Понятно?

— Освети-тель...— усмехается Валентина, в толк слова мои нипочём не берёт.— Шагатель...— тянет она всё в том же насмешливом духе. Да, помолчав, подумав, развёртывается ко мне: — Ой, верно... Может, попробуем?

— Нечего пробовать! Делать давай!

И вот наконец-то мы заедино во всём. Сшибаясь в темноте головами, сталкиваясь руками, обшариваем инструментальный ящик, вяжем концы проволоки, набиваем ветошью жестяную воронку, добываем из бака, обильно льём на ветошь керосин.

И Валентина торопит:

— Поджигай!

Факел от моей зажигалки-стуколки вспыхивает не враз. Зато ярко. Тьма отскакивает. В багровом кругу под колёсами трактора сразу видно всю жуткую хлябь, но я смело тяну факел из рук Валентины.

— Готово! Я пошёл.

Только и Валентина вновь прежний надо мною главнокомандующий:

— Стоп! Заведу сначала мотор.

Сшагивает в сытно хлюпнувшее месиво, обрешаёт вокруг трактор, дёргает заводную рукоять и под моторный гул, уже снова на рулевом мостике отдаёт мне приказ новый:

— Разувайся!

Я рот раскрыл, я замер в изумлении:

— Чего это? Мои башмачата и без того дырка на дырке... Что в них, что без них — я почти как босиком... Какая тут для меня разница?

— Будет разница! — И Валентина стаскивает с себя свои собственные, искупанные в грязи по ушки армейские сапоги, пихает их в мою сторону, сама стоит на голом железе в одних



чулках: — Быстрей! Мои — тебе, твои — мне...

Я опять:

— Чего ты?

А она как зыкнет:

— Огонь погашу! — А она как прикрикнет: —

Опять не нуждаешься в советах?

И тут я разуюсь, переобуюсь — делать нечего.

И странно: её сапоги мне в тютельку. Она меня ростом больше, а сапоги мне — впору. Да не только в самый раз они, а из них ещё не ушло её тепло, и от этого мне делается совсем непонятно — и радостно очень, и конфузно очень, — и, больше не рассуждая, срываюсь я с трактора вниз.

Полоснув по тьме факелом, я прыгаю в дорожную топь, как в морскую пучину. Но мутная зыбь лишь колыхнулась, твердь под ногами там есть. Обозначенные светом, вокруг меня мечутся, качаются ало-чёрные берега. И вот они двинулись сквозь ночь вместе со мной, вместе с моим факелом.

А следом, слышу, зарокотал, зашлёпал колёсами, потянул сани и наш «хэтээшка». И пусть я то и дело оступаюсь, пусть то и дело осклизаюсь, я бормочу:

— Теперь доберё-омся... Теперь с огоньком-то моим поспеем... На то он и огонёк!

Промашка

Трактор заглох среди поля. Вмиг стало слышно в недалёких, одетых молодою зеленью березниках напористое кукование кукушки. Сразу стало видно: мир с его летучими, весенними облаками огромен, а трактор мой в этой огромности — всего лишь недвижная колымага, я же при ней — растерянная букашечка.

Растеряться было отчего. День за днём я ждал: выеду в поле не под суровым командирством наставницы Валентины, не мальчиком на подхвате, а сам по себе, заправским, полномочным рулевым. И вот весна вошла в самый разгар, по межам полей вытолкнулись встречь солнцу ранние цветы, сочные травы, и мне повезло. Валентину вдруг повысили, командировали на укрепление в новую бригаду, и тем же утром, когда Валентина помахала мне лёгким своим узелком, наш здешний бригадир Ваня-Дедок сказал:

— Ну, Лёвка, из-за чужой спины выглядеть хватит. Время военное — на долгую учёбу нет лишней минуты. С трактором, с плугом, надеюсь, и ты справишься...

И я чуть было не заорал: «Управлюсь! Конечно же, конечно, управлюсь, расчудесный ты наш Дедок-Дедунюшка!» Но вовремя вспомнил: кличут так бригадира лишь заглазно, лишь за его белую, седым-седую бородёнку, а вообще-то он ещё куда как расторопен, напорист, и характер у него — с шуточками не нарываешь.

И я ответил солидно, без излишней суетливости:

— Постараюсь... Нынче же допашу до конца начатый с Валентиной загон.

И вот... допахал!

И вот трактор остывает, печально молчит, я топчусь рядом. Вокруг лишь усмешливый шёпот ветра в прошлогодней стерне, в светлых, недалёких берёзах кукушка словно бы издевается надомной настырным голосом: «Ку-ку! Ку-ку! Доверили руль полному дураку!»

От огорчения, от тревоги я отупел совсем. Не возьму в толк, за что схватиться, не знаю, как к чему подступить. Заводную рукоять пробовал крутить не один раз, даже выверил самое для

меня трудное — магнето на искру, но и при хорошей искре трактор молчит.

И я затосковал напрочь.

Мне оставалось загорать, сидеть, постыдно дожидаться Ваню-Дедка. Дедок только и делает, что колесит день-деньской по колхозным пашням на избитом своём велосипеде, чутким ухом только и слушает, где какой трактор смолк.

Но и Ваня-Дедок при всей своей расторопности везде поспеть не может. Да и сам я не очень горю желанием с первого раза попадаться под горячую его руку. Ведь если неполадка в тракторе ерундовая, то бригадир под горячий запал-то не только меня отругает, а ещё непременно скажет: «Не-е-ет... Ты далеко не Витька Петухов!» И это позорней позорного, потому что Петухов Витька почти мой ровесник.

Витька старше меня лишь на полгода, а трактор у него работает изо дня в день, как часы, и бригадир нам, салажатам, начинающим механизаторам, то и дело ставит Витьку в пример. За это мы Витьку любим не слишком. Да и он в нашей любви тоже не очень нуждается. Он знай себе крутит с утра до ночи баранку, пашет, боронит колхозные гектары; про него Ваня-бригадир даже однажды совершенно всерьёз, совершенно торжественно провозвестил: «Если и есть среди нас настоящие бойцы трудового тыла, так это Петухов Виктор Николаевич!»

И вот только я про Витьку завистливо подумал, как в солнечной тиши за перелеском прорезалось, бархатно запереливалось дальнейшее тракторное урчание.

«Петушище! — так и всколыхнулся я. — Там, на соседнем поле, Петухов Витька. И нечего мне страдать, нечего раздумывать, надо мчаться к нему на поклон!»

Я ринулся наискось через рыхлую пашню,

через частый березник, через глубокий, весь в голых, ломких зарослях прошлогоднего малинника овраг, вылез на ту сторону.

Там распрекрасно тарахтит, катит почти мне навстречу, отваливает трёхлемешным плугом пашенные пласты Витькин трактор.

Витька меня пока что не видит, я машу ему кепкой, бегу наперехват:

— Стой, стой, стой!

Витька тормозит, смотрит на меня недоумённо.

— Слушай! — кричу я. — Слушай! У меня мотор не заводится.

Витька разводит руками:

— А я при чём? Если не заводится, ожидай на помощь Ваню-бригадира.

И тут я с жалобного тона срываюсь, кричу возмущённо, зло, даже свирепо:

— Эх, ты! А ещё передовой боец в нашем передовом тылу!

Тогда Витька усмехается криво, глушит мотор, прыгает из-за руля сверху ко мне на пашню:

— Леший с тобой... Пошли, да быстрее. Теряю из-за тебя дорогое время.

Я веду его прежним своим ходом через овраг, через перелесок, забегаю всё наперёд, опять заискиваю:

— Понимаешь, Витёк, я и ручку пусковую сто раз крутил, и магнето проверял, а мотор — хоть бы хны. Мотор молчит как заколдованный...

Витька идёт, не то меня слушает, не то не слушает. По красно-рыжей его физиономии ничего не поймёшь. А идёт он степенно, руки в карманах пиджака, на скором ходу сутулитесь, явно подражает Ване-бригадиру.

И вот мы возле моего злосчастливого трактора, возле моей застылой, упрямой колымаги.

Тут я всё отдаю на Витькину волю. Сам



скромно и, конечно, тревожно переминаюсь рядом. Витька — ну, прямо профессор-механик! — заглядывает туда, смотрит сюда, ощупывает то, трогает сё и вдруг говорит:

— Ха! Ну, ты и раззява... Если в бригаде сказать, не поверят. Со смеху помрут.

— Отчего помрут? Во что не поверят? — тяну я шею, а Витька тычет пальцем в топливный бак:

— Глянь, да получше!

Я взлетаю наверх, на рулевую площадку, срываю крышку бака, а там, в тёмной глубине, керосина — ни капли...

Я бы так сквозь землю и провалился. Я делаюсь, наверное, красней, чем рыжий Витька, потому что глупее моей оплошки не придумаешь ничего. Керосин-то рядом! В конце загона, в запасной бочке керосина хоть залейся, а у меня сухой, пустой бак!

— Витя, Витя... — бормочу униженно. — Пожалуйста, никому об этом не говори. Я про керосин забыл сначала впопыхах, а потом забыл с перепугу... Ведь трактор мне доверили всего в первый раз. Ты не скажешь, нет? Очень тебя прошу... Ну прошу же!

Канючу, краснею, сам шарю глазами туда-сюда, надеюсь найти для Витьки какой-нибудь подарок. Какой-нибудь подарок такой, от которого бы Витька не отказался и тем самым дал бы согласие на полный молчок.

Но нигде, даже в инструментальном ящике, ничего интересного у меня нет. В ящике лишь гаечные ключи, но они не мои, они казённые, да и у Витьки их наверняка набор полный.

Нету, разумеется, подарка и в моих собственных карманах.

Тогда я решительно распахнул пиджак, выдернул со свистом, с потягом из опояски штанов свой кожаный, с блестящей пряжкой ремень. Это

было единственное моё уцелевшее с довоенной поры богатство. Этот ремень привезла мне когда-то из Ленинграда тётушка. На железной пряжке был выбит корабль с мачтами, и ремень оттого походил как бы на моряцкий, на краснофлотский. Мне однажды в школе давали за него отличный перочинный нож, но я не сменялся.

В ту пору не сменялся, а теперь из опояски выдернул, зубы стиснул, голову наклонил, сунул ремень Витьке рывком:

— На! Владей! Лишь меня не выдавай!

У Витьки глаза стали огромными, круглыми. Он за ремень ухватился цепко. Он стал разглядывать подарок, а я поддёрнул ослабшие штаны, давай их подвязывать концом медной проволоки.

Подвязал, с пустым ведром в руке рванул к бочке через поле. Наполнил ведро в два счёта, вернулся к трактору, нацедил керосина через воронку в бак, принялся крутить заводную ручку.

Трактор чихнул.

Трактор на весь весенний, голубой и зелёный простор заржал, как сытый жеребец.

Я сам зареготал счастливым жеребёночком:

— Ага-га-га! Ага-га-га! Вот она в чём была, промашка-то!

Кидаюсь к рулю, а Витька — гоп! — тут меня и перехватывает. Он меня за рукав держит и, совершенно как сам я вначале, толчком да отворотясь, впихивает мне за пазуху ремень мой обратно:

— Держи, не роняй! Держи, держи крепче! А то на радостях, ко всему прочему, штаны ещё на борозде посеешь...

Он ремень мне отдал, он — руки в карманы, локти врасстырку — деловую, сутулой походкой пошагал через поле к себе за перелесок. А я

сидел теперь за рулём, поддавал газу, и трактор мой — шумный, живой — опрокидывал пашенные пласты плугом ровно, укладисто, ходко.

Трактор шёл уверенно, и я был уверен: Витька обо мне никому ничего не скажет.

Витька — умница, Витька — человек на все сто, Витька — парень мировецкий!

Весточка

В дни пахотных работ у тракториста весёлых минут не так много. За рулём на пашне тракторист почти всегда в полном одиночестве. Если есть желание поговорить, отвести душу, то побеседуй с вольным ветром, с жарким солнцем, с тракторным мотором, а других собеседников у тебя нет и, возможно, не будет до поздних сумерек, до сбора бригады в деревне на ужин.

Правда, в начале сезона мы стали брать к себе в плугарята мальчишек. Местных мальчишек, трудяг ещё боле зелёных, чем сами мы.

Усаживался такой помощник внизу под трактористом прямо на скользкую площадку рулевого мостика, упирался ногами в обшлёпанный грязью прицеп, глядел, как рядом стальные ножи-отвалы режут, перевёртывают землю, а в обеих руках у плугарёнка шершавая верёвка. Он дёргал верёвку по команде тракториста: включал, выключал на поворотах подъёмный плужный механизм.

Плугарёнок, если надо, бегал с ведром к ближнему роднику за водою. Он помогал трактористу заправлять керосином опустошённый топливный бак. Ну и конечно, тракторист в такие минуты мог чуть-чуть да опомниться от напряжённой работы, мог с плугарёнком маленько побалагурить.

Но вот на тракторе у Витьки Петухова с плугарёнком-то и вышла беда.

Сидел, сидел плугарёнок на малонадёжном, тряском месте за спиной у Витьки, держал, держал в руках верёвку да на длинном пашенном загоне, когда переключать было нечего, взял да и задремал.

А трактор — то ли на какой кочке, то ли на потаённом камне — колыхнулся не в лад, и плугарёнок полетел вниз кубарем. Он ухнул под наползающие острия тяжёлого плуга, и, будь за рулём совсем кто иной, а не Петухов Витька, прощай бы навсегда нерасторопный мальчишечка.

Успел Витька уловить тоненький вскрик. Успел, не оглядываясь, не мешкая, надавить подошвою до самого отказа на тормозную педаль. Трактор круто, на месте застыл. Но и в тот же день то ли первым сам Витька, то ли Ваня-Дедок, а может, и оба вместе сказали твёрдо:

— К чему нам этот риск? За верёвку можно дёргать безо всяких плугарят... Пускай они бегают лучше в колхозе на работу на другую, на менее опасную.

И с того дня мы, трактористы на пашне, остались без компаньонов. С той поры длинная верёвка привязана у нас под боком к тракторному седлу, плуг мы включаем, выключаем собственноручно, а вот добрым, живым словечком перекинуться уже и не с кем.

Я тоже теперь как все, я тоже день-деньской в одиночестве.

А одиночество, даже трудовое, требует крепкой, серьёзной привычки. А пока у тебя привычки ещё нет, то чувство на душе такое: трясёшься ты по пашне крúгом бесконечным и даже твои мысли, как вечерние столбуны-комарики, вьются одинаково, не сдвигаясь никуда.

Вот, скажем, мне охота себя востормошить. Вот хочу придумать что-нибудь всё ж таки



бодрое. Например, сочинить записку маме. Ведь весточки маме я до сих пор не послал никакой и теперь пытаюсь на ходу трактора записку сочинить устно, чтобы потом, разживясь у Вани-бригадира, у Вани-Дедка, бумагой и карандашом, всё быстренько, всё чётко изложить в письменном виде.

Первая строка складывается в голове быстро.

Она, конечно, должна быть такой: «Здравствуй, мама! У меня всё хорошо...»

Но тут вижу: правое переднее колесо трактора ладит выехать из борозды, — я упругим разворотом штурвалаправляю колесо, как надо.

Потом снова шепчу начатое: «Здравствуй, мама...»

А упрямое колесо вылезает да вылезает, и опять я поворачиваю обеими руками штурвал.

И так — минута за минутой, и так — час за часом. Сочинение записки буксует на словах: «Здравствуй, мама... Здравствуй, мама... Здравствуй, мама...»

От этого затяжного однообразия, от ослепительного, схожего с электросваркой солнца шалеешь чертовски, и так и тянет отколоть что-либо выходящее из ряда вон. Например: направить весь пахотный свой агрегат не вдоль борозды, а поперёк или совсем отступить от руля, и пускай тогда трактор шурует сам по себе в любую вольную сторону...

Отвлечение, переключение тут бывает единственное: приезд в поле Вани-Дедка. Но если трактор твой подаёт в далёкие дали голос ровный, голос работающий, тогда и Ваня объявится лишь по причине очень деловой, лишь если у него назрел для тебя шибко серьёзный, совсем безотлагательный приказ.

В тот день, когда я наборматывал безо всякого толку послание к маме, Ваня прикатил на мой ра-

бочий участок тоже с новым распоряжением. Только выложил это распоряжение не вмиг, не с ходу. Сначала он приткнул обшарпанный велосипедшко к выключенному трактору, прошёл в наклон по взрыхлённой полосе, очень придиричиво, раз несколько измерил глубину вспашки.

Затем осмотрел весь мой трактор, глянул в бак с горючим, вынул из картера масляную линейку, опустил обратно и вполне довольным тоном сказал то ли в мой адрес, то ли в адрес всё ещё горячего мотора:

— Замечаний, кажется, нет... — И лишь после этого изрёк самое главное: — Допашешь этот участок — перегоняй немедленно технику на Заречный клин.

— Какой дорогой? Где речку переезжать?

Ваня инструктирует:

— Двигай от нашей деревни на деревню Меленки. За Меленкой — мост. А там путь снова почти обратный, но другим уже берегом. В общем, получается изрядный крюк, и всё же заблудиться негде, дорога торная.

— Хорошо, — киваю, — не заблужусь... Будет исполнено.

И мне охота поговорить ещё, да Ваня осёдлывает велосипед, катит дальше. Может, к Витьке Петухову, может, к другим нашим ребятам-трактористам.

«Эх!» — машу я на Ваню, сам смотрю в сторону речной поймы, которая от меня близёхонько. Я взглядываю туда, где приманчиво, прохладно, свежо зеленеют пышные ольховники.

Трястись по дорожной пыли, по духоте у меня, как ни повёртывай, особого желания нет. Я и без этого на жаре-то истомился. Я и так за полдня уже наездился, и на уме одно опять стремление: в монотонную, отлаженную лишь по Ваниным инструкциям жизнь внести хоть что-то

да самостоятельное, хоть что-то да новое.

Стою, прикидываю: не перемахнуть ли речонку-то напрямик? Приказ Ванин приказом, а самостоятельность нашу Ваня тоже уважает!

А перемахнуть, кажется, можно. В плотных зарослях ольхи — светлый прогал. Он похож на зелёные к речке ворота, двумя там впадинами в траве обозначилась старая колея. По ней давно никто не ездил, да всё равно она ведёт, должно быть, к броду. А если брод, то и затея моя исполнима.

Я бегу туда на разведку. Потная, грязная одежда скинута. И это сразу — как начало моей во всём свободы. Открытое тело смеётся каждой клеточкой, грудь загодя вдыхает вольготный аромат речных кувшинок.

За тенистыми ольхами по скату до самой кромки воды — хрусткий под босыми подошвами песок. Белизну песка заткали широкие листья мать-и-мачехи, а всё равно старая колея и тут приметна очень. Ее пологие канавки смело уходят под быстротекущую речную поверхность, там шныряют пескарики, и зябко, радостно вздрагивая, я меряю ногами глубину.

Упругая, напористая вода до колен. Лишь в конце брода чуть по грудь. Трактору проехать здесь проще простого, а у меня — ох какой получится выигрыш! Я окажусь на Заречном клине в считанные минуты и устрою себе тут хорошую передышку. Ваня-бригадир будет полагать, что я тащусь на тракторе вокруг той далёкой Меленки, а я уже на месте, у меня передышка, свобода!

Я в речке набултыхаюсь вдосталь, я привет досочиню маме и, может быть, шутя, для веселья записку напишу ей безо всякой бумаги и карандаша... Ну, скажем, нацарапаю на берёсте каким-нибудь шильцем-гвоздиком. Или тонкой от-

вёрткой. Берестяные грамоты, как сказано в книжках, ещё посылали друг другу старинные люди, а у меня для такой затеи и острая железка всегда в инструментальном ящике найдётся, и белых берёз на том берегу полно.

И вот я возвращаюсь к трактору, допахиваю нынешний урок. Полдневный зной, строптивый руль-штурвал меня больше не раздражают, я чуть ли не пою: «Привет, мама! Здравствуй, мама! Скоро, очень скоро совершу свой хитроумный манёвр и займусь необыкновенной для тебя весточкой. Потом лишь останется придумать для весточки подходящий конверт, и всё, и порядок...»

Работа идёт теперь к концу быстро, возделанная пашня после моего плуга даже красива. Ваня-Дедок сейчас бы сказал: «Вот он — добросовестный вклад в оборону!» Но про Ваню я уже вспоминаю мимоходом, я, не мешкая, беру направление к броду.

На малых оборотах, с выключенным плугом рулю под густыми ольхами по едва заметной в травах колее. Железное тулово трактора гнёт белоголовые, сочные дудки, подбирает под себя высокую крапиву, ярко-жёлтые шапки пижмы. За остриями колёс остаются влажно-зелёные, перемешанные с чёрной, жирной почвой следы.

А тут и песчаная отмель, и чуть дальше сквозь бегущую воду просвечивает галечное дно. Ещё внимательней, осторожно, так, что мотор лишь попыркивает, веду трактор поперёк течения. На плуг теперь не оглядываюсь. Чувствую безо всякой оглядки: плуг, крепко прицепленный, следует за трактором покорно. Впереди нас медленно движется невысокая, накатная волна, вот она шлёпает в тот берег, вот ещё два коротких мига — и мы будем у цели, мы выедем на сушу.

Вдруг — качок, толчок, остановка... Трактор

грузным задом оседает в какой-то провал. Колёсные шипы вывёртывают со дна серую муть, мотор натужно рычит, а движения нет!

Трактор лишь глубже да глубже зарывает сам себя в речное дно.

Сердце оборвалось, я сбросил газ: вот тебе и «Здравствуй, мама»...

Смотрю через тракторное крыло на гладкий, опять спокойный поток воды, а по спине — мурашки. Переправа, должно, потому и заброшена, что на дне прососался родник. Он грунт расшатал, а трактор это место продавил окончательно, и я сел в капкан! Что делать, как спастись, как выкручиваться? Опять лететь за «палочкой-выручалочкой», за Витькой? Или прямо идти сдаваться Ване? Так это уже совсем не то, что моя бывлая оплошка с пустым баком. За всаженный в речку трактор меня просто-напросто, как щенка, вышвырнут из бригады. И такая кара будет ещё даже милостью, потому как бывают наказания куда пострашнее. Выход сейчас один: что сам заварил, то должен и выхлебать дочи́ста сам...

Ох и пластал же я, корчевал на том берегу кусты, пеньки, деревья! Ох и спешил там, старался, как заправский вальщик-лесоруб! А у меня не было и захудалого топоришка — щепал я, валил целые жердѣны коротким монтировочным ломиком.

Я руки искровенил, я спину надсадил. Нанырялся в речке не только вдосталь, а до полного озноба, до посинения. Зато, когда на протоку легла от берегов вечерняя тень, я выстлал под трактором и впереди трактора по всему донному зыбуну почти настоящую гать.

Кроме того, древесные обрубки догадался вбить сбоку в колёса, в пазы стальных шипов. Колёса от этого сделались совершенно похожими на гусеницы, и это они, когда я снова пустил



мотор, дали главную опору движению, и подводная хлябь качнулась, прогнулась, но вниз дальше не села,— трактор выехал!

Трактор выбрался на то заречное поле, куда я был послан. Оно было тихим, пустынным. Его застилал полусонный, предзакатный, медленный свет. И лишь на ополье берёзовая роща, чуть отливая вечерней золотинкой, всё ещё белела. Она всё ещё напоминала о записке маме. Но какая тут записка, когда мне надо снова речку эту вброд перебредать, когда мне надо пешком-пешком да трусцой, пока не стемнело, поспеть на бригадную квартиру к ужину, а там на вопрос Вани: «С переездом что вышло? Трактор на месте?» — ответить как можно уверенней, как можно бодрей: «Конечно, на месте! Заречный клин начинаю пахать с самого утра! Что было приказано, то и исполнено!»

Косохлѣст

Полевая наша работа шла да шла своим порядком, а о родном доме всё равно думалось. Будь он, дом-то, поближе, я бы сменял поизношенную одежонку на свежую; при маминой помощи отпарил бы, подлечил избитые об железо, изъеденные тракторной смазкой руки, и даже час-другой вздремнул бы на домашней постели — опрятной, мягкой, замечательно уютной.

А главное, я бы услышал там, дома, такие вот очень необходимые мне мамины слова: «Старатель ты у нас, Лёвушка... Глядишь, заработаешь к новой зиме хлеба... Трактористы за свой труд получают хлебом!» И мама посмотрела бы на меня гордо, и братишка да сестрёнка тарасились бы на меня уважительно, и от одних таких слов, от одних таких взглядов у меня бы сразу добавилось настроения.

Но сколько по дому ни тоскуй, сколько ни рвись туда сердцем, а всё равно это одно лишь пустое, совершенно напрасное мечтание.

Ведь если я заикнусь об этом бригадиру Вανε-Дедку, Ваня мне ответит с ходу: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Кого заместо тебя посажу за баранку? Жди, терпи, когда придут из МТС дополнительные подменщики, тогда вот и слетаешь домой. А сейчас — паши, газуй, не хнычь!»

И Ваня, конечно, не так, как мама, а всё ж меня подбодрит: «Ой вы, кони, вы, кони стальные, боевые друзья трактора, веселее гудите, родные, — нам в поход отправляться пора!» Потом непременно легко приударит тебя ладонью по плечу: «Слышал?»

А когда кивнёшь, что да, мол, слышал, слышал, и не один раз эту песню слышал, то Ваня скажет настойчиво: «Пора отправляться!»

И потопашь ты опять безо всяких яких к своему «стальному коню», и больше не нудишь, потому как ничем другим Ваня-Дедок тебя обрадовать и не в силах.

Умотанный бесконечными хлопотами вокруг нас, желторотых водителей, вокруг наших издёрганных машин, Ваня сам — далеко не богатырь, далеко уже не молодой — наверняка нуждался хоть в чьей-нибудь да мало-мальской поддержке. И нытьём о доме я Ваню, в общем-то, почти и не бередил, своими слабацкими мыслями почти и не беспокоил, но вот в один из особо жарких летних дней произошёл вдруг в бригаде совсем неожиданный случай.

От напряжённой работы, от полевого зноя моторы тракторов раскались чуть не до бела. Внутри них цилиндры, клапаны, казалось, вот-вот расплавятся или взорвутся. И мы сами — все распаренные, все изнемогшие — сбросились друг за

другом на деревенскую квартиру, чтобы первым делом глотнуть там в прохладных сенях из прохладного ведра свежей водицы, а затем и пообедать.

Насчёт пообедать-то мы ведь в любой, в самой жаркой обстановке были всегда не прочь!

И вот по местам расселись, разобрали ложки. Хозяйка наша, тётя Шура, выставляет на широкий стол общее глубокое блюдо с довольно жиденькой похлёбкой. Тётя Шура делит ножом — крест-наперекрест — на одинаковые, не очень большие доли ржаной каравай. Она раздаёт нам сегодняшний паёк. И мы готовы на еду навалиться, да всё нет и нет в избе Витьки Петухова.

Ваня-Дедок открыл в нетерпении оконную раму, выставился на волю по самые плечи:

— Где шлѐндает наш передовик?

Мы дружно засмеялись. Нам нравится, что бригадир, пускай слегка, пускай заглазно, а всё ж рассердился на своего любимчика. Мы похихатываем:

— Ничего! Явится! А как явится, так и опять нас обставит даже здесь, даже за столом с ложкой... Он такой!

Тут, слышим, в сенях затопотали знакомые шаги. Дверь в избу отворилась, на пороге возник Витька. И глядим — на нём прямо лица нет.

Порог он переступает медленно, от двери не отходит, привалился плечом к косяку.

Голову набычил, приподнял чумазую пригоршню и раскрыл её так, будто сидит у него там что-то ужасное. Мы снова таращимся, видим на грязной Витькиной ладони белую, фарфоровую, оправленную в чёрно-сизый металл запальную свечу.

— Лопнула... Перекалилась... Закашлял мой трактор... Нужна, бригадир, запасная, новая.



Ваня-Дедок вылетел из-за стола в один мах. Свечу с Витькиной ладони сцапал, давай вертеть, давай разглядывать.

Вертел, вертел, зашёлся чуть ли не криком:

— Где возьму запасную? Где? Весь мой резерв — в пустом кармане кукиш на аркане! Вы сами давно всё пожгли, попалили... Теперь остаётся: рабочий трактор — на прикол, а тебе, Витька, ноги в руки да и чесать в МТС на центральную усадьбу, к самому директору. Без директора худую свечу на исправную не обменяет никто, потому как — полнейший дефицит! —



Чуть убавив шумного тона, Ваня-Дедок подталкивает Витьку к столу: — Заправляйся — и в путь! Мигом, скоком! На третьей скорости! К утру чтоб ты мне опять тут стоял, как штык! С обмененною свечой!

Сам Ваня к столу больше не присаживался. Он вертел злополучную детальку в руках, растерянно вздыхал:

— Боже ты мой, боже ты мой... На вид ерундовина, а без неё — точка!

Витька поглядывает на Ваню виновато, хотя, по-правде, ни в чём и не виноват. Он тороп-

ливо таскает ложкой похлёбку, попутно бормочет:

— Ладно... На дороге нажму... Постараюсь, как ты велишь, к утру обернусь.

И вот они словами перекидываются, все ребята их слушают, я тоже слушаю, и вдруг меня озаряет мгновенный план.

Толкаю под столом Витьку коленом, теснюсь к нему боком, шепчу на ухо:

— Вить, а Вить... Ты недавно в поле выручил меня, теперь давай я выручу тебя... В МТС топать, я смотрю, тебе охота не очень, так пересяживайся на трактор на мой, на исправный. А мчаться в дальний путь пускай бригадир велит мне... Я за рулём, Витёк, куда тебя хуже, но бегаю наверняка шибче!

Нашёптываю я это Витьке, а сам втайне думаю: «Витьку уговорю, тогда и дома побываю. Мой-то дом от центральной тракторной усадьбы совсем близёхонько, а у Витьки такого интереса нет, его родной дом в стороне другой».

Перевожу дух, жду ответа. А Витька хлебает, размышляет. Чем дольше он думает, тем ждать нестерпимей. Я еложу по скамейке, толкаю Витьку в бок:

— Ну, скажи про меня бригадиру... Ну, скажи...

А Витька знай ложкой навёртывает, глаза в сторону отводит, хлебает, молчит. Видно, бригадира в такой обстановке боится.

Тогда я вскакиваю с места сам. Волнуясь, заикаясь, говорю Ване-бригадиру точно то же, что нашёптывал Витьке. Главное, напирая на свою быстроту и на то, что на моём тракторе умелец Витька наработает куда как больше моего.

Бригадир взгляд на меня уставил, бородёнку белую, кудлатую кулаком потёр, подумал да вдруг и усмехнулся:

— Ох, Лёвка, ты и хлюст! Не заливай тут всем про собственную резвость, не толкуй нам про Витькину трудовую доблесть, а лучше скажи прямо: захотел, мол, попутно заглянуть к мамке.

Распечатал он меня, как говорится, в одну секунду; вогнал, как говорится, в краску, но Витьку Петухова спросил без усмешки:

— Возражений нет?

Витька на этот раз хлебать перестал, развёл руками:

— Как хотите... Я согласен.

И вот Ваня-Дедок, наш бригадир, командир, воспитатель и наставник, отдал мне в руки повреждённую свечу, строго наказал — при всём моём личном! — не позабыть уговор о быстром возвращении, и вот я лёгкою трусцой тороплюсь за деревенскую околицу.

Предстоящий путь неблизок, но сердце ликует. При быстром ходе я попаду в МТС ещё до заката солнца. Отлично мне знакомый директор — тот самый директор, что назвал меня когда-то «парнишкой с огоньком», — безо всякой, конечно же, канители решит мне порученное дело в один момент.

Ну а сразу после дела я ринусь к железнодорожному посёлку. И пока мама с ребятами не улеглись спать, я успею стукнуться к ним в дверь. Я ввалюсь к ним во всей трактористской великолепной красе! Я предстану перед ними — с ног до головы весь в дорожной пыли, весь чёрен, загорел, неумыт, только зубы светятся; и мама с ребяташками ахнут, и, может, в первый миг не признают меня. Да тут я шагну на середину комнаты, скажу крепким, весёлым голосом: «Не ждали? А я, между прочим, к вам с гостинчиком!» И выверну левый карман пиджака, выверну правый карман: там сэкономленные обрезки моих каждодневных обеденных горбушек.

Хлеб я начал припрятывать, как только задумал поход домой. И вот сегодня, всего лишь часов через несколько, я гостинец выложу перед мамой, выложу перед сестрёнкой, перед братишкой, и то-то будет шуму, то-то будет радости! А потом мама нагреет воды, я вымоюсь на кухне в тазике и хотя бы недолго, да всё же вздремну в той чистой постели, о которой давно мечтал. А на рассвете, ещё до солнца, мама меня, бодрого, приласканного, проводит в обратный путь.

Вот, собственно, и всё моё не такое уж великое мечтание. И я иду, не сбавляю скорости, хотя дорожные километры через жаркие поля, через тенистые, но всё равно душные перелески становятся с каждым часом тягучей, всё длинней.

Знойно настолько, что я снимаю пиджак. Я ошупываю карманы с гостинцами, главное же, проверяю тот карман, внутренний, где лежит неисправная, но крайне нужная для обмена свеча. Она тут, она на своём месте. И я беру пиджак за ворот, перекидываю за спину, шагаю в одной рубашке.

Пыльная дорога то петляет суходольными низинами, то круто уводит навстречу облакам на окатистые увалы. С их высоты видать всё окрестное пространство. Видно коричневые квадраты дальних паровых пашен, светлые, бегучие тени созревающих нив, скромные, серые кровли полевых деревенек.

Дорога меня ведёт через некоторые деревеньки насквозь. Они малолюдны. Население всё на полевых работах, лишь изредка на травянистой тихой улочке попадётся стайка нешумных малышей да случайно там окажется какая-нибудь одинокая женщина.

Малыши, женщина смотрят мне вдогон пристально, долго. Под их взглядами я топаю ещё напористей. Мне, при таком со стороны внима-

нии, охота казаться взрослым, деловым, но и охота ещё скорей дошагать до собственной мамы.

Да вот только и день-то летний давно перевалил через небесную макушку, и стремится он к убыли куда меня быстрее. Я спешу теперь как бы с самим временем наперегонки. Солнце клонится неудержимо на сторону закатную, а я, отбрасывая длинную, больше моего роста, тень, тороплюсь.

Кроме того, помогая солнцу поскорее скрыться, из-за тёмного слева увала начала всплывать тяжёлая туча. Вот она задела солнечный диск лохматым крылом, вот размахнулась сильнее, шире, захватила половину неба, и ярко-белая, горячая дорога стала тусклой.

Такой перемене я обрадовался. Дышать на ходу стало легче. Сразу исчезли назойливые мошки, мухи, слепни. Эту кусачую нечисть унёс вдруг ветер. Он прошумел в пыльных придорожных кустах, пригасил и без того неяркие цветы репейника, заставил прилечь к самой земле тонкостеблистые ромашки, покати по дорожным колеям одуванчиковый пух.

Потом ветер упал, вновь наступила тишина. В сухую пыль, как пульки, стукнули первые дождевые капли. Били они сначала редко, бесприцельно. Но минуту спустя принялись постреливать по плечам, по простоволосой моей голове, я накрылся сверху, как домиком, пиджаком: не беда, не размокну! Не сахарный... Идти при дождике даже лучше, чем в неносную жару...

Но вот ветер налетел с новой силой, пиджак из моих рук чуть не вырвал, заметался туда-сюда, и я услышал такой гул, будто наперерез мне идёт железнодорожный, грузный состав.

Я поднял голову. От чёрного теперь неба до чёрной теперь земли косо, ходко валила через поля дымчато-седая стена. Она росла и



рушилась. Она снова и снова как бы воздымалась, потом опять подминала под себя испуганную землю, и это от неё, от обвальной, живой стены, исходил тот грозный гул.

Мне сразу стало не по себе. Я завертел головой, высматривая хоть какое-нибудь укрытие. На ту беду, вокруг была только голая, гладко выкошенная луговина. И если куда я мог тут сунуться, так лишь во взъерошенную ветром, низенькую сенную копёшку.

Сено ещё не застоговали. Копны на лугу торчали там и сям. Я ринулся к ближней. На четвереньках, по-собачьи, работая руками, ногами, головой, ввинтился в сухую, колючую тьму. Пиджак втянул следом. И только угнездился — сбoku, наискось по копне ударил тяжёлый ливень. Он мигом добрался до моих плохо укрытых ног, мне сразу стало мокро, студёно, я свернулся калачом.

Наташил на себя пиджак, но проку от него было мало. Водопад-косохлёт бушевал и бушевал. Холодные струи стали подтекать под самый низ копны, и я жался-жался, вертелся-вертелся с боку на бок да и принял решение: всё равно теперь! Чем лёжа мокнуть, лучше снова пуститься в путь!

А выбрался на волю — чуть-чуть не захлебнулся в ливневом обвале. Вода хлестала с неба столбами. Луговина вокруг пузырилась, пенилась, текла сплошной речкой, а моя копёшка, лишь я её покинул, качнулась кособоким поплавком и двинулась вослед за бурлящею водой.

Соседние копны плыли тоже. Они сбивались на нижнем участке покоса в одно лохматое, зыбкое стадо. Погибал чей-то немалый труд; я глядел на это несчастье, не в силах что-либо предпринять.

Я съёжился, приобнял знобко голыми руками плечи да тут и ахнул от ужаса нового. На плечах

не было пиджака! Пиджак я забыл в копне, забыл вместе с доверенной мне свечой, вместе с хлебом, а копна, кружась, кренясь и покачиваясь, уходила всё дальше.

Расплёскивая мутную воду, бултыхая осклизлыми башмаками, я забурился в погоню. Копну настиг на самом водовороте, давай её прямо на плаву мять, давай ворошить, терзать, но пиджака не обнаружил.

Я так чуть в поток и не уселся, так и зашёлся горчайшим воплем. Да ливень шумел куда пуще, вряд ли кто меня тут, в лугах, мог услышать. Не было здесь ни Витьки, ни Вани-Дедка, и хороший человек, директор, находился где-то ещё далеко-далеко, за накрытыми косохлестом пашнями и лесами.

Кое-как содрав с ног набухлые башмаки, я зашлёпал по залитой луговине вверх, зашлёпал вниз: авось босыми ногами нащупаю пропажу...

Ходил таким манером и безо всякой пользы очень долго. Наконец чувствую: ливень стал слабеть. Он уже не налетает сокрушительными порывами, он шумит однотонно, размеренно, вот распался на отдельные нити, зарёдил, простучал нечастыми каплями и умолк.

Булькают теперь только ручьи, потоп схлынул. На когда-то зелёном, выбритом косилкою лугу расползлись грязные намывы от мышиных да кротовых норок, и в этой слякоти я отыскал пиджак.

Ох, что это стал за пиджак! Сплошная мочушка с бурой кашицей в карманах вместо хранимых там ржаных кусочков-гостинцев. Но зато свеча была цела — мне сразу задышалось свободней.

Тяжёленькую свечу я перепрятал в карман более надёжный, в штаны. Пиджак мало-мальски пообшоркал, от воды поотжал, перевесил через

руку. Другою рукой подцепил совсем жалкие, бесполезные обутки, побрёл по дороге босиком.

Небо всё ещё оставалось мрачным, тяжёлым. Но капало теперь с одного меня, и тащился я по осклизлым колеям, как мокрая каракатица.

Я совершенно потерял представление о времени. Я не помнил, сколько пролежал в копне, как долго метался по луговине. Утомлённый до невозможности, я плёлся всё медленней да медленней, воспрянул духом лишь оттого, что вдруг кончилась грязь. Дорога вдруг пошла ложиться под босые ноги мягко, тепло, сухо. Ведь любой летний проливень, как бы ни бушевал, как бы ни стегал, всегда имеет где-то границу — я этого рубежа и достиг.

Дорога пошла опять хорошая, но вокруг совершилась другая тревожная для меня перемена. Небо очистилось, а светлей не стало. Вдали над горизонтом зажглась первая ночная звезда.

«Всё! Не успеваю! По делам не успеваю, домой опаздываю!» — всполошился я.

И снова — бег. Опять и опять бег на последнем дыхании.

Час ли, два ли мчался — этого не знаю тоже.

Помню лишь: под звездою небесной мигнул, загорелся огонёк земной. К запаху полевых трав, к свежести ночного воздуха примешался терпкий запах нефти и железа, вдоль серой дороги потянулись тёмные постройки, в синеватой мгле проступило жёлтым квадратом окно.

МТС! Контора! На мою удачу, вечерует кто-то...

Держусь за шаткие перила крыльца, унимаю в ногах дрожь, тяжело одолеваю ступеньку за ступенькой, а дальше — прокуренный коридор. В коридоре опять, как два месяца назад, раскрытая дверь. За дверью, за канцелярским столом, всё тот же однорукий директор, бывший фронтовик.

Впечатление такое: после нашей весенней встречи он никуда и не отлучался ни на единую минуту.

Но дело сейчас не в этом.

Сквозь густую тень самодельного жестяного абажура при косом свете настольной лампы мне лица директора не видно. А всё равно ясно-понятно: он-то меня разглядывает так и сяк. Даже, возможно, вспоминает нашу прежнюю встречу, но почему-то не рад. Только и спрашивает:

— Что за ночное явление? Что случилось у Ивана в бригаде? — допытывается директор, а к моей личности, к моему изнурённому, измотанному виду никакого интереса не проявляет. Он жмёт и жмёт на вопрос: — Что в бригаде стряслось?

И тут меня забирает злость. Ковыляю к столу, грохаю гранёной гайкой свечи по столешнице:

— Вот что стряслось! Целый трактор встал!

Говорю «целый», будто встать может половина или четверть трактора, но так уж у меня вышло.

Гляжу на директора исподлобья. Не дожидаясь ответа, заранее объявляю:

— Пока новую свечу не дашь, никуда отсюда не уйду!

И самовольно, даже нахально, безо всякого приглашения валюсь задом на клеёнчатый, затёртый, стоящий невдали от дверей диванчик.

Да и пора мне валиться, пора присаживаться. Ноги ноют, окончательно слабнут, а директор даже моей нахрапистой ярости не видит. Он, как Ваня-Дедок, вцепился в эту распроклятую свечу. Директору моя особа, моя личность, моё поведение — нуль нулём. Он в полумраке комнаты бранится неведомо с кем. Бранится опять же почти так, как Ваня-бригадир:



— Прах бы забрал всю эту канитель! То одно рухнет, то другое треснет... Где сил набраться, как всё удержать хоть сколь-нибудь на живом ходу?

Он тискает свечу в единственном своём кулаке. Кулак с побелевшими костяшками пальцев в таком напряжении, словно надтреснутая свеча может от этого усилия склеиться. Потом директор встаёт, идёт к незакрытой двери. По пути мне не то разрешает, не то приказывает:

— Если уселся, то здесь вот и сиди, дождайся.

Я сижу, жду. А меня покачивает, а меня так и клонит на бок.

Сырая рубаша на мне уже пообсохла, влажный пиджак валяется рядом на диванчике. От

старой, обшарпанной обивки диванчика, как от всего здесь на машинно-тракторной станции, исходит керосиновый дух. Этот дух мне сейчас уютен. Я бы так и окунулся в него, я бы так к облезлому валику диванчика головой и припал. Да, раздосадованный чёрствостью директора, поддерживаю себя тихим, сердитым бормотаньем:

— Не раскисать, не раскисать... Директор — человек мне чужой. Ему бы лишь трактора гудели, не стояли. А мои переживания поймёт до конца лишь мама. Сестрёнка, братишка и мама... Обменяю свечу, потопаю сразу к ним. Они теперь почти рядом. Правда, гостинец для них — уже и не гостинец, а тесто в карманах, но дома мне будут рады и так.

И я увидел мамину улыбку; увидел весёлые глаза сестрёнки, братишки; почувствовал под щекой мягкую, свежую подушку и, счастливый, провалился в эту подушку до самой, до самой тёплой, домашней глубины...

Когда раскрыл глаза, в лицо мне засматривало раннее, розовое солнце. Ослеплённый, я не вмиг понял, где нахожусь. Под головой вместо подушки — твёрдый валик. Почти рядом — казённый двухтумбовый стол. На столе — погасшая, с жестяным абажуром лампа. Под лампой лежит, отражает оконный свет воронёными гранями новая, без единой царапины, с бело-сахарным сердечником свеча.

И тут я припомнил всё! Вскочил, стал искать пиджак. Начал искать, потому что плечи мои оказались накрытыми совсем незнакомым, взрослым, с запахом горькой махорки плащом.

В это время скрипит дверь, в кабинет входит директор.

Где он сам-то спал, я не знаю. Я, оказывается, о его житье-бытье вообще не ведаю ни-

чего, только и вижу: ночь прошла, а он всё равно не выпался. Наружность и голос — хмурые:

— Ну, ты и дрыхнуть, парень, здоров... Что потерял? Свечу?

— Нет,— отзываюсь,— свечу заметил. Отыскиваю пиджак. Вчера по лывам, по ручьям искал, сегодня ищу тут снова.

— За шкаф глянь,— подсказывает директор.

Оборачиваюсь туда, куда велено. Мой замызганный пиджачишко распялен там на вешалке так акуратно, будто в конторе и впрямь побывала приснившаяся мне мама.

А директор не даёт ничего толком сообразить, директор безо всякой улыбки объясняет:

— Не решился я тебя ночью подымать, не решился... Сижу, работаю, заявки на керосин-бензин составляю, а ты храпишь во всю ивановскую... Меня аж в другое помещение выгнал! По дороге-то, видать, попал под дождь?

— Попал да чуть не пропал!

— Это ничего...— всё так же сдержанно бубнит мой собеседник.— Это бывает... Обязанности у нас — не пряники перебирать... Теперь главное: снова, да быстрее, в бригаду.— Кособоко, всей длинной, однорукою фигурой тянется к вешалке, сдёргивает пиджак, кидает мне в охапку, суёт в мою ладонь холодную, гладкую свечу: — Ступай! Бодрись! Держи фасон, тракторист.— На миг спохватывается: — Может, желаешь дожидаться открытия столовой? Тогда выдам разовый талончик...

Но и так же, как сам директор, но и опять, как вчера, я тоже совсем ещё не в духе. Суховатое директорское «Ступай!» закрывает мне последнюю робкую надежду исполнить мой вчерашний, личный, такой было осуществимый план. Я упрямо отмахиваюсь:

— Нет уж... Не до столовой... А за свечу спасибо.

Я шагаю размашисто по вчерашней дороге в сторону высоких полевых увалов. За спиной у меня убывают, отходят вдаль оплётнутые ранним солнцем кровли МТС. За спиной, если оглянуться, — вон за тем, я знаю, золотисто-голубоватым ельником! — мой родной посёлок. Да только я не оглядываюсь. Я добываю щепотка по щепотке из кармана слипшийся там хлеб, кидаю крошка по крошке в рот и опять, как вчера, всё спешу, всё спешу.

И думать себя заставляю только о бригаде да о тракторах.

А иначе ведь и зареветь совсем не долго от оглядки-то от этой, от взгляда на родное и опять недоступное крыльцо.

Я — нет, не оглядываюсь, я бодрюсь, я держу фасон.

Напарник

Достался он мне из-за моего минутного рото-зейства, из-за того, что очень удивил меня своими лаптями. У нас даже при всей нашей тогдашней бедности лаптей-то давным-давно никто уже и не нашивал, а он заявился в лаптях. И вот, пока я на его допотопные, на лыковые обутки, на перевязанные до колен верёвочками портянки таращился, пока думал: «Где, в какой глухомани директор МТС выкопал такое диво?» — шустрые наши ребята-трактористы всех других новичков, себе напарников, порасхватили, и мне достался он.

Но лапти — ладно. Не в них суть. Каждый обувается в то, что имеет. А главное в том, что весь вид у него был для механизатора какой-то совсем-совсем неподходящий — недотёпистый, что ли...

Ростом парень как парень, даже плечи пошире моих, а держится будто робкая девчонка-подростыш, которая сама не ведает, зачем, куда забрела.

Все, кто с ним прибыл в бригаду, все его не очень давние, видать, попутчики быстрёхонько свои пожитки по углам растолкали; все весело галдят, обсуждают будущую совместную работу с нашими ребятами, а он как с котомкой у двери встал, как почти у самого порога на край скамейки сел, так там и сидит, не снимая с плеч котомки.

Сидит, трёпаную шапчонку опасливо подсунул под себя. Руки — опять же по-девчоночьи, ладонь к ладони, лодочкой, — пристроил на сомкнутых коленях и озирается. Этак боком озирается, словно ждёт: плеснут ему тут сейчас ледяной воды за воротник.

В общем, сам я глядел на него, глядел да и взбеленился. «Надо же, — думаю, — какой мне достался тютя!» И, ничуть досады не скрывая, ехидно спрашиваю:

— Откуда ты взялся? Из деревни Агафоново, да?

И все в избе как про Агафоново услышали, так разом засмеялись. Потому что у нас, в нашей местности, давно каждому известно: если дело закрутилось вокруг Агафонова, то оно непременно смешное.

А он, будущий-то напарник мой, не смеётся ничуть, он лишь торопливо, угодливо кивает мне головой:

— Ага... Ага... Правильно... Мы из Агафонова.

И тут опять все грохнули. А я, подхлёстнутый собственным, хотя и нечаянным попаданием в цель, продолжаю уточнять:

— Из того Агафонова, где плотники бревно



руками растягивали, чтобы стало подлиннее? Из того Агафонова, где хозяин с хозяйкой да их детки кашу ели в доме, а молоком захлёбывать бегали с ложкой по лестнице в погреб? Неужто у нас тобой, Агафоша, работа пойдёт на такой же лад?

Но опять он — ничего. Он знай всё терпит, опустил книзу глаза, разглядывает на полу меж собственных лаптей гладкую половицу.

Он смущённо пригнулся. Завязка от котомки над белобрысой макушкой, над покорно склонённой шеей торчит серым лопухом.

— Мы бревно не растягивали... Мы за молоком не бегали... Это просто про нас в шутку так-то лишь говорят... И зовут меня не Агафоном, а Колькой. Ну а на работе я буду стараться изо всех сил.

— Шилом в небе дырки прокалывать, потому как дождик всё не идёт и не идёт? Третий рукав к шубе пришивать, потому как второй прохудился? — не отвязываюсь я, да тут Ваня-бригадир поддал мне под бок:

— Уймись!

И я бы в конце концов унялся, да в огонь масла вдруг подлил сам этот Колька-Агафон:

— Чего уж так-то... Я ведь дома в поле пахивал и на лошадях, и даже на быках.

— А на козле не пахивал? — подхватил кто-то из наших, и теперь все зареготали, залились уже и надо мной.

— Ну, держись, Лёвка! Достался тебе специалист широкого профиля, самый лучший! Будете ставить с ним на тракторе, на борозде самые высокие рекорды!

То есть какую яму я для Кольки-Агафона рыл, в ту сам и оступился. Угодил сам на зубок нашим разбитным бригадникам. А в таком положении лучше пощады не просить, лучше

сматывать удочки, улепётывать побыстрей на трактор, на работу.

Да Агафон-то мой после дальней пешей дороги ещё не пил, не ел, не распрощался с заплечной котомкой, и я встал, мимоходом ему буркнул:

— Жду в поле, за околицей...— Ване-бригадиру бормотнул тоже: — Если дело с таким помощником не пойдёт, лучше останусь работать в одиночку, опять сам в полных две смены!

— Н-ну...— усмехнулся Ваня,— ну-ну... Чем бузить, лучше человека сначала как следует раз-узнай...

И вот он, напарник, совсем рядышком со мною, на рулевом мостике моего трактора.

В тот день я начинал новую пахотную полосу и Кольку, ясно-понятно, в первую минуту к рулю не допустил.

При всём при том я ведь ещё и знал: хотя пришли к нам эти свежие ребята с казёнными бумажками, с направлениями из МТС, да получить на скороспешных курсах никакой путной подготовки не успели. Вся их надежда — на нас, на нашу совместную практику. Мы для них теперь, не считая Вани-бригадира, главные учителя. Мы ведь и сами набирались умения на ходу, вот и каждого из них тоже должны натаскивать на ходу. Способ обучения здесь единственный: не зевай, ворон не считай, делай, как делает старшóй.

Ну, значит, я сначала и усадил своего подопечного не за руль, а рядом: гляди мол, Николаша-Агафоша, в оба. Гляди зорче, мой личный бесценный опыт перенимай!

И вижу: он в самом деле глядит, таращится старательно. Он даже рот приоткрыл, даже не очень боится слететь со своего шаткого места, с тракторного крыла.

Таким я манером, под его почтительным на-

блюдением, проложил первую ходку вдоль всего поля. Сделал плавный округлый, с выключенным плугом поворот. Снова плуг включил, снова врезал лемехи в землю, зашёл на вторую ходку, а там и на третью.

Мне самому от такой моей складной работы куда как приятно. Я от прежней своей взвинченности мало-помалу отмякаю и вот сквозь та-рахтение мотора напарнику кричу:

— Понял что-нибудь?

Он готовно кивает:

— Понял!

— Это ещё не всё... Это не самое трудное... Намного заковыристей после какой-либо остановки на полосе вновь набрать ход с плугом. Причём не оставить ни малого огреха на бороздах и не заглушить в тот же миг трактор.

Показываю Кольке даже этот вот очень и очень непростой секрет, потом трактор с урчащим мотором, с включенным плугом останавливаю:

— Садись за управление...

Колька сел, вцепился в руль.

Он вцепился крепко, смело, да вся хватка у него — как у извозчика, который держит вожжи. Он весь, как на тряской деревенской телеге, на ногах привстал, шею вытянул, подбородок выставил, спиною запрокинулся неведомо куда.

— Жми на сцепление лаптем! Включай скорость! Давай помалу вперёд! — ору я.

Он «даёт», и — пыр, пыр, дыр! — трактор от внезапной натуги захлёбывается, глохнет.

— Раззява! — бранюсь я. — Так и знал, толку с тебя не станет!

Хватаю заводную рукоять, оббегаю трактор вокруг, мотор запускаю, команду свирепю:

— Пробуй ещё раз!

Он пробует. Трактор выстреливает синее дымное кольцо, глохнет вновь.

— Агафон безрукий! Перепутал газ с подсом, скорость со сцеплением... А ну, слазь!

И вижу: он медленно-медленно с высокого сиденья, с тракторной рулевой площадки слезает.

И гляжу: он — сутулый, несчастный, шея тонкая, волосы из-под шапки обвисли потными сосульками — бредёт от меня по пашне к деревенской дороге.

— Куда? — кричу. — Куда?

А он, понурый, бредёт, пошатывается, оступается. И мне понятно: он плачет.

Он плачет точно так, как плакал когда-то я на первом своём весеннем тяжёлом в бригаду пути, и от этого сравнения мне становится невыносимо.

Я растерялся. Я большими прыжками скачу по рыхлым комьям пашни, хватаю Кольку за пиджак, держу на месте, изо всех сил пробую Кольку развернуть:

— Коля, Коля, что ты...

А он не стоит, он не оборачивается. Не даёт мне взглянуть в лицо, голос подаёт на ходу, да и то не громко:

— Я так... Я так... Сам теперь вижу: к рулю непригоден... Мне самому ясно: все вы тут вон какие умельцы, а я в Агафонове своём не успел ничего. Только и привык — на лошадях... Но разве я в этом виноват? Агафоновские мужики тоже на фронте, и с лошадьми-то у нас больше управляться почти некому. Вот и в МТС наша колхозная председательница меня едва-едва отпустила.

— Не виноват ты, Коля! Не виноват ни в чём ни на одну каплю! — захлёбываюсь я сам от быстрых слов, трясусь перед собой руками. Даже забегаю вперёд, даже бью себя кулаком в грудь: — Слово даю! Агафоново — деревня ни-сколь других деревень не хуже! И на лошадях,



конечно, тоже не просто. И с трактором у тебя дело пойдёт на ять! Пойдёт что надо, на большой палец! Вон бригадир Ваня каждый трактор так прямо и называет стальным конём. На тракторе вся тайна — лишь день-другой пообвыкнуть... Не тушуйся, Коля, давай, давай обратно за рычаги, за штурвал.

Напарник мой останавливается, утирает под носом ладонью, утирает обе щеки, глядит мне теперь в глаза прямо, но с огромным недоверием:

— Не врёшь? Не обманешь?

— Чтоб мне провалиться! Примемся за работу с самого начала, и обзывать больше не буду никогда.

До завтрашнего вечера...

С напарниками-сменщиками бригадная жизнь пошла повеселей. Я трижды побывал дома, и трактор без меня не простаивал, на нём вполне нормально работал Колька. Более того, глядя на Колькино усердие, я начал подумывать: «А что? Возможно, вот теперь-то мы и выйдем в заправские передовики... Возможно, отвоюем у Витьки Петухова красный флажок!»

Тот флажок был флажком далеко не обычным. Ярко трепыхаясь на корпусе трактора, он, конечно, и в первую очередь означал наилучший экипаж, но про него ещё ходили меж ребят-механизаторов упорные слухи: кто флажок удержит до победного конца войны, тот получит орден и поедет с орденом глядеть Москву — столицу нашей Родины. А от Москвы да от ордена разве кто откажется? Ни в жизнь, никто! Ни один тракторист! Вот я и возмечтал о такой награде и тем же завлёк напарника Кольку.

Завлечь завлёк, да при всём нашем старании впереди нас держался опять тот же Петухов

Витька. Мы с Колькой из кожи вон лезли, мы раньше всех уходили утром в поле, мы позже всех с поля усталые прибредали, а как бригадир начнёт «подбивать бабки», то есть подсчитывать сделанное за день, так флажок опять у Петуха!

Но вот уже осенью, когда, отсеяв озимые, мы принялись допахивать зябь, когда по сереньким рассветам над полями, над дорогами, над избами деревни стали пролётывать холодные, белые мухи, Ваня-Дедок за общим завтраком вдруг объявил:

— На пашне сегодня никому допоздна не задерживаться. Особо — Лёвке с Колькой. Нынче, во-первых, банная суббота, а во-вторых...— И, окинув лукавым взглядом всю дружную за столом нашу компанию, как бы подчеркнул именно для меня с Колькой: — Что будет во-вторых, вечером и узнаете.

— Говори сразу! Утро вечера мудреней,— сделал я попытку подтолкнуть Ваню на более вразумительный разговор, да Ваня на мою посьловицу ответил также посьловицей:

— Не дождав вечера, про утро толковать нечего! — И бодро, по-военному скомандовал: — По машинам!

И мы пошли по своим тракторам. И не знаю, как другим ребятам, а нам с Колькой этот денёк показался длиною в целое столетие.

До жути было любопытно, какую такую новость готовит нам Ваня. От нетерпения так и хотелось подхлестнуть трактор. Хотелось дать мотору такого «газу до отказа», чтобы медлительный, неуклюжий трактор вместе с трёхлемешным плугом залетал бы вдоль пашни крылатым самолётом.

Но что невозможно, то невозможно. Хорошо было только то, что теперь из-за краткости осеннего света работали мы с Колькой не по сменам,

а опять вдвоём. Перекрывая треск мотора, мы орал:

— Чего это бригадир так в упор на нас утром смотрел? Чему это он радовался? На что намекал?

— А не иначе как сегодня нам и передадут, наконец, Витькин флажок!

— Не иначе... Только при чём тут баня?

— А чтобы уж всё было чистенько-пречистенько, торжественно, празднично!

— Верно... Если флажок — значит, праздник. Но вот для чего вчера из конторы МТС заскакивал в бригаду на конных дрожках посыльный? О чём он с Ваней так таинственно шептался?

— Он почти не шептался. Он лишь передал Ване с рук на руки какой-то сидор.

— Что за сидор?

— Ну, это ребята так говорят: сидор... А попросту это мешок.

— С чем же он?

— Неизвестно. Ваня мешок сразу под ключ спрятал в дальней кладовке у хозяйки, у тёти Шуры.

— Неужто Витьке Петухову трудовой орден уже привезли? Нам передадут флажок, а ему вот — орден...

— Чепуху несёшь! Ордена в мешках не развозят. Любой орден, конечно, тяжёленький; говорят, серебряный, но — небольшой... Да и не через Ваню ордена вручаются, через кого-то намного поглавнее. Кроме того, войне — не конец, Витьку награждать не вышло время.

— Тогда хуже дело. Тогда флажок опять останется у Витьки. А нам бригадир крутил мозги просто для веселья, просто в честь банного дня...

Словом, обсуждая всю эту загадку, мы извлеклись окончательно. Под конец даже наделали на загоне пропусков-проплешин, их пришлось пере-

пахивать по второму разу, и заявили на деревенскую квартиру мы опять в потёмках.

Ребята-трактористы — все, все, кроме нас, — сидят уже там, в избе, намытые, распаренные, причёсанные. Сидят вокруг пустого стола под висячей керосиновой лампой. Ваня-Дедок с ходу у самого порога суёт нам в руки чуть мигающий, закоптелый фонарь:

— Говорёно было — приходить раньше! Сидим, все помылись, а ваших милостей нет... А ну, марш на санобработку, пока вода горячая, пока у ребят не кончились терпелки.

И опять голос бригадира усмешливый, не сердитый.

Опять в голосе бригадира нам слышится какой-то приятный намёк. Да и ребята во главе с Витькой Петуховым поглядывают в нашу сторону так странно-весело, будто что-то этакое уже успели про нас узнать.

И я да Колька времени не теряем. Выхватываем из домашних котомок по запасной рубашке, мчимся от избы к бане через всё хозяйское, тёти Шурино подворье. Спешим через давно выкошенный и опять заросший мягкой травой гуменик. Слабый свет фонаря ничуть не разгоняет поздние сумерки, а как бы, наоборот, уплотняет их. Только под ногами у нас качается жёлтый, нечёткий круг. Вот он вспрыгивает круто вверх, высвечивает деревянный, серый, в зубчатых тенях крапивы приступок бани. Мы толкаем скрипучую, тяжёлую, в старых трещинах дверь. И уже прямо в предбаннике нас окатывает горьковато-приятный парной запах.

В иное время мы разделись бы с Колькой в предбаннике, не спеша. Мы бы самое главное удовольствие пооттягивали подольше, тем более что в очередь за нами никто уже не стоял, а баня для нас была роскошью не частой.

Ведь кто знает, тот понимает: натопить деревенскую баню на целую бригаду — это надо вытаскать, переносить тяжёлыми вёдрами чуть не полколосца воды, надо сухих дров наготовить не одну охапку, да и дежурить потом у котла, у огня не меньше чем полсмены. Особых же истопников-банщиков нам в бригаду никто не выделил. Это лишь наша квартирная хозяйка, наша тётя Шура, жалея нас, когда полевая страда посхлынула, стала отпрашиваться со своей главной, колхозной работы и стала нет-нет да устраивать нам такую радость. Спасибо ей, тёте Шуре, за доброту её великую, низкий ей наш за это поклон!

Но теперь, в переполненный нетерпеливыми нашими ожиданиями вечер, мы о банных делах не рассуждали. Мы поскидывали кое-как одёжку да и ринулись в главный жар за вторую дверь.

А там, по совести сказать, почти и не мылись. Лишь, чтобы Ваня-Дедок не догадался да на смех не поднял, окатили себя с головы до пят тёпленькой водицей из деревянных шаек, потёрли мокрыми ладонями чумазые свои физиономии и — скорей, скорей — выскочили обратно в предбанник.

Выскочили, тут же влезли в чистые, тугие, обмалелые за лето штаны, рубахи, давай искать обувь. Ищем, фонарём под лавкой светим, а моих латаных-перелатаных, за всё про всё единственных башмаков не видать! И не только башмаков... Даже Колькиных разбитых вдребезги лаптей тоже не видно. Лежат лишь почему-то не на своём месте, у самой у наружной двери Колькины портянки.

— Вот так с лёгким паром... — растерялся было я. Потом сообразил: — Парни подшутили... Наши... Ну что ж, ничего! Доскачем до избы босиком. А там, кому полагается, сами устроим хорошую шуточку... Врубим по шее!



Но Колька, чувствую, тут сразу и скис. Он мигом стал опять Агафон Агафоном. В полутьме предбанника голос Кольки дрожит уныло:

— Да-а-а... Ты-то, конечно, врубишь, а я не сумею... Меня снова, как тогда, в первый день, задразнят. Для того ведь и лапти спрятаны... Эх Лёвка, Лёвка, а мы, дурачки, ждали, мы надеялись получить что-то хорошее, а вышло опять всё одно и то ж...

Расстроенный голос Кольки действует на меня как горький укор. В панику, однако, не вдаюсь:

— Забирай, Коля, портянки. Айда, Коля, в дом. Дурачки не ты, не я, а все они вместе с Ваней-бригадиром.

Обжигая голые подошвы о холодную траву,

широко шагаю через гуменник; Колька семенит рядом.

В избу я не просто вхожу, а — дверь наотмашь! — врываюсь. Грохаю фонарём об пол так, что тусклый фитиль громко хлопает, гаснет.

А в избе всё равно светло. А в избе, свешенная с потолка, пылает лампа. Под ней по-прежнему сидят, вместе с Ваней на нас глядят парнишки-трактористы. У каждого рот до ушей, хоть завязочки пришей, — настолько им весело.

Ваня-Дедок видит нас босоногих, потирает ладоши, ухмыляется в бородёнку:

— Добро, добро! Вот вы оба и поспели, пора приступать к дальнейшему!

Ваня будто ничего не ведаёт о проделанном с нами подвохе, выражение лица у него — будто счастливую денежку нашёл.

И я ему самому чуть вслух не сказал «дурака».

Но перемогся, лишь крикнул:

— Где мои башмаки, где Колькины лапти?!

А ребята улыбаются всё шире да шире; Витька Петухов, едва сдерживая смех, пробует мне куда-то показать кивками головы.

Ваня-Дедок мешает:

— Пускай увидят сами...

Только и Ваня, наконец, не выдерживает. Он, веселясь, подаёт мне подсказку:

— Иди в тот угол... Туда, где твоя постеля...

Оборачиваюсь к тому углу, мысленно передразниваю Ваню: «Постеля»... Говорить правильно и то не умеешь, Емеля! Отыщу хоть один башмак, так по тебе и шарахну!»

Но башмаков не видать и не видать. А стоят на полу рядом с моим туго свёрнутым мешковинным матрасом кирзовые, фабричной выделки сапоги. От них — я ещё издали чую! — даже магазинный запах распространяется, настолько

они с иголочки, настолько новы, прекрасны.

Я их пока ещё не трогаю, я приседаю возле них, ошалелым, робким голосом спрашиваю Ваню:

— Ой, Иван Иванович! Ой, миленький! Чьи это сапоги такие?

— Как чьи? Твои! Премия... За честную работу! — похохатывает довольнёшенький Ваня, а ребята-бригадники хором подтверждают:

— Твои, твои! Не сомневайся. Натягивай да пройдишь, покажись!

А мне и с пола не встать. У меня ноги, руки от счастья дрожат. Сапоги верчу едва не перед самым носом, трогаю матерчатые мягкие ушки на голенищах, глажу резиновые твёрдые кругляши на подмётках и ничего больше не вижу.

Никогда в жизни у меня таких сапог, да еще заработанных собственным трудом, не бывало. Вот награда так награда. Вот, оказывается, с чем приезжал посыльный из конторы, вот на что утром так весело намекал бригадир!

Поднимаю глаза, сипло, горячо говорю Ване:

— Даже не верится...

Он широко поводит ладонью, указывая на ребят вокруг стола:

— Коллектив благодари... Сапогов только и привезли две пары, бригада единогласно решила отметить именно твой боевой экипаж.

Да на меня никто уже не смотрит, потому что все устались теперь на Кольку.

Мой напарник давно меня опередил. Он в новые сапоги обулся с ходу. Он притопывает, вертит головой. Он глядит то на округлые сапожные носы, то на гладкие задники — весь так и завился винтом. Ошарашенные глаза у Кольки — по чайному блюдечку.

Тогда я натаскиваю обновы прямо на босу ногу, прыжком вылетаю на середину избы, вы-

колачиваю каблуками из половиц неуклюжую, но глубокую дробь.

Такая выходка возвращает ко мне всеобщее внимание.

— Асса! — почему-то на кавказский манер орёт Петухов Витька.

— Асса! — вторят ребята.

А кто-то полусмехом, полувсерьёз гаркнул:

— Вот бы разом сейчас да на улицу, на зарядку, на вечёрочку!

— На весёлое гуляньице! — шумлю я, шумит Колька, галдит бригада. Ваня-Дедок изумлённо приподнимается с лавки:

— Очумели? С ума сошли? Какие вам нынче вечёрки? Где?

Ваня даже подумать, видно, не мог, что награждение меня и Кольки сапогами обернётся таким вот поголовным в бригаде завихрением. Да мы и сами ещё минут пять назад ничего подобного в себе не предполагали. Но, должно быть, настолько мы за длинные месяцы безотдышной работы истосковались хоть по какой-нибудь вольной разрядке, что и подняли галдеж:

— На вечёрку!

Только и Ваня-бригадир тут был очень прав. Вечёрка, или по-здешнему — зарядка, вряд ли где в окрестностях сейчас захороводиться могла. Раньше, до войны, такие вечёрки с танцами, с гармонью шумели по закатным зорям в каждой мало-мальской деревушке, но теперь главные заводилы-запевалы все на фронтах, теперь молчит по вечерам и та деревня, где мы работаем, живём.

Но всё ж кипучее настроение берёт верх, мы оставляем сердитого Ваню в одиночестве, теснясь, толкаясь в сених, выскакиваем на улицу.

Улица встречает безмолвием, пустотой. Недавно взошла луна. От её неуверенного, студёного света всё на улице призрачно и бело. Зыбкою

белизной, словно инеем, осыпаны тихие деревенские дворы, плетни, дорога. Поперёк дороги лежат от высоких берёз тени. Они ещё более мрачны и холодны, чем сам лунный свет,— энтузиазм нашей компании гаснет.

— Куда пойдём-то? — вздохнул Колька.

— На самом деле... Пожалуй что, некуда...— поубавил прежних своих оборотов и Петухов.

А мне уняться не позволяют сапоги. Мне в премиальных, новеньких сапогах словно кто щекочет пятки. Торчать просто так у крыльца не могу, вернуться в избу нет желания — вырываюсь из ребячьей совсем было притихшей ватажки вперёд.

— Как это некуда, если перед нами целая улица! А ну, шагай, запевай! — И выкрикиваю первое, что приходит на память:

Чёрна туча, чёрна туча —
Гитлер с запада идёт.
Наша силушка могуча
Тучу эту разметёт!

Витька Петухов — ждать не пришлось — запев поддерживает:

Гитлер вздумал угоститься,
Чаю нашего напиться;
Зря, дурак, бахвалился —
Кипятком ошпарился!

Ребята двинулись шеренгою за нами, каждый в свою очередь старается как можно громче, как можно озорней прокричать частушку. В каждой частушке Гитлеру достаётся на такие калёные орехи, что будь здоров!

Мы поём, хохочем. Мы тесным строем перегородили лунную улицу, проходим сквозь тени под берёзами, надрываемся, горлопанем и вдруг слышим: в разбуженной деревенской тишине мы не одни.



Где-то раскрылось со стуком окошко, в нём протяжно заохал, заудивлялся старушечий голос:

— Ма-атушки светы, гляньте, что деется на улице!

Из соседнего окна голос ещё удивлённее:

— Всё как раньше! Всё как до войны... Откуда молодцы такие объявились?

— Так, поди, Шурины квартиранты. Ихняя бригада... Ну, соколики! Ну, ухари! Сколь уж времени такого не бывало, не играло на деревне!

Окна раскрываются друг за другом. Потревоженные старики, старухи не бранятся, они нас одобряют. В ночном осеннем воздухе лестные в



наш адрес возгласы хорошо слышно. И мы возносимся — выше некуда. Каждый из нас сам про себя думает: «Я и впрямь удалец! Я впрямь — ухарь, бравый сокол!» У нас плечи стали будто шире, и грудь у каждого колесом, и вот-вот, мнится, на запев наш молодецкий сбегут с резных крылечек красны девицы, и зашумит в пробуженной деревне настоящая вечёрка-заянка.

Да только, глядим, на оранье-то надсадное наше вымелькивают из-за скрипучих калиток одни лишь девчонки-немноголетки — такие же, как мы, подростыши.

Они сбиваются на уличном конце в тесную

стайку. Затем образуют похожий на наш развёрнутый рядок. Идут они, плывут навстречу лунному свету, навстречу нам. Тонкие, белые лица их в сумеречной зыби почти одинаковы. Да и нарядишки у каждой почти на один подбор, ничуть наших не лучше. Видать, что со взрослых плеч кофтёнки, окоротелые школьные пальтеца.

А шествуют девчонки чинно. Шествуют, запевают. Та, что в неуклюжей, обвислой стёганке, но в аккуратном, воздетом на ушко берете, выводит чуть ли не просительно:

Отвори калитку, мама,
Пусть подует ветеро-о-ок...
Не придёт ли кто к нам в гости,
Не подаст ли голосо-о-ок.

Подружки подхватывают:

Дом наш прямо у дороги,
Печь в нём рано топится-а-а...
Только что-то, только кто-то
К нам всё не торопится-а-а!

Не в пример нашему горлопанству девчонки поют без крика, без нажима, даже грустно. Они, склонив одна к другой головы, идут, словно меж собой беседуют. У нас у самих теперь нет никакого желания орать. Более того, когда певучий встречный строй оказывается близко, мы путь ему не заграждаем, рулим стороной, по траве.

На такой манер встречаемся, уступаем дорогу не единожды. И нет у нас храбрости подать голос: «Довольно, девчонки, как два ходика-пароходика, мимо друг друга бродить! Не пора ли затеять зарянку совместную, с танцами?»

Да у нас не только не хватает храбрости, у нас и музыки для танцев нет. И главное, никто танцам не обучен. Где, когда нам было этому обучиться? Совсем негде, а более того — некогда.

А ещё мы просто-напросто девчонок-то очень

стесняемся. Кое с кем из них мы, конечно, видывались на рабочих, колхозных дорожках, но то было всё мимоходом, то было всё не в счёт — ходим вот так, близко друг от друга, по неширокой улице при осенней луне мы впервые.

И чтобы скрыть своё неуклюжее смущение, мы лишь и можем напирать вновь да вновь на одно-единственное, на частушки про Гитлера.

В конце концов, на девятый или десятый раз, когда обе стайки опять близко, та певунья, что в берете, не вытерпливает, смеётся:

— У ребят заело пластинку! Пора бы с тем Гитлером кончать!

Тут меня и выкинуло вновь на переднюю линию. Я топнул, хлопнул, выдал нескладушку собственного, моментального изготовления:

С плугом-другом
Поле-м-кругом
Ходит трактор-молодец!
Трактористы,
Как танкисты,
Устроят скоро Гитлеру конец!

Теперь засмеялись все. Бродячие наши стайки, будто этого и ожидали, остановились лицом к лицу. Девчонка, которую я про себя и называл с этой минуты Беретиком, улыбается, говорит:

— Хорошо бы конец-то... Вы уж, ребята, постарайтесь.

— Все силы положим! — загалдели наши, а Колька воздел над головой руку, выкрикнул:

— Трактористы, как танкисты, никогда не подведут! Будьте уверены!

Глядя при тусклом лунном свечении на Колькину не очень складную фигуру, глядя на его вздыбленные, как у чертёнка, вихры, мы смеёмся ещё дружнее.

А Колька рад. Былую, «Агафонскую» обидчивость он позабыл, он решительно суёт ладонь

одной девчонке, другой девчонке, приговаривает:

— Будем знакомы... Калабашкин Николай! А кто не против, пусть называет — Коленька!

И опять нам весело, опять нам славно. По зачину Кольки каждый из нас желает с девчонками поручкаться. Я протягиваю свою ладонь Беретику. Я вижу, я слышу — её тонкая ладошка ответно легко прикасается к моей.

Да тут не то чтобы ветром холодным, не то чтобы громом раскатным, но неожиданно и сурово на нас обрушивается голос, видать, потерявшего всякое терпение бригадира, Вани-Дедка.

Ваня распахнул дверь избы, с крыльца, сверху, шумит на всю улицу:

— Это до какой поры будете разгуливать? Забыли — с утра каждому за руль? Отбой, отбой, и немедленно!

А спорить с Ваней можно, да не всегда. Тем более не при девчонках, не при всей теперь деревне. И вот вместо приятного знакомства у нас с девчонками выходит расставание.

Беретик заместо имени своего мне лишь дружелюбно говорит:

— До завтрашнего вечера...

Я готовно киваю:

— Да, да... Да, да...

Бреду вместе с ребятами к Ване, поднимаюсь на крыльцо. Ваня вполне теперь мирно журит нас:

— Ишь разгулялись, кавалеры... А наутро мне пушку добывать, над ухом у каждого стрелять, чтобы на работу пробудить? Нет уж!

И мы с Ваней и тут не вступаем в спор. Когда он гасит в душноватой избе лампу, мы все до единого уже разобрались по своим углам, по своим разбросанным на полу матрасам.

Перед сном даже и сегодня не балагурим, не шепчемся. Бригадир ночует вместе с нами, он может на шептунов рассердиться всерьёз.

Я лежу, глаз не закрываю. Луна сыплет белое сияние во все три окошка. Рядом с моим изголовьем чернеют нарочно там оставленные дарёные сапоги. Это с них сегодня началось всё такое для меня непредсказуемо хорошее. Я всё ещё чувствую, как Беретик трогает мою ладонь. Мне снова слышится и слышится: «До завтрашнего вечера...» И беззвучно в тишину я отвечаю: «До завтра, до завтра... Вечером завтра ты скажешь, Беретик, мне своё настоящее имя!»

И так бы оно, возможно, и получилось всё.

Да на завтра-то вышла вдруг команда Ване и нам переезжать на другие поля, поближе к МТС, а там уже и готовиться к скорой зиме, к новым, не менее трудным делам по капитальному ремонту. И небольшой нашей тракторной колонне помахала вослед лишь наша добрая хозяйка тётя Шура, и больше бывать в этой деревеньке мне никогда, ни единого раза не пришлось.

Салют в Стрижатах

За долгую-то войну поутомились все крепко.

К месту ли, не к месту, но особо и опять скажу про наш, ребячий отдых-сон.

В бригаде, бывало, парнишка-тракторист из-за руля вылезет, место сменщику уступит да тут же, на пашне, так прямо в борозду и ткнётся:

— Спать, спать...

Бригадир Ваня-Дедок кричит:

— Запашут тебя здесь!

А парнишка ухом не ведёт. Он уже пристроил чумазные ладони под голову, ему свежая борозда как подушка. Вот бригадир и тянет его на деревенскую квартиру чуть ли не на себе. А назавтра опять с ним, будто нянька, возится: трясёт, расталкивает, поднимает на работу.

Меня самого таким же вот манером не раз на

пашне будили, не раз с пашни приводили. Валясь в избе на пол, на матрас, только и успеешь, бывало, бормотнуть: «У напарника, у Кольки, трактор не барахлит? Пошёл?», а бригадир только и успеет ответить: «Пошёл, пошёл...» — и ты вмиг как провалился! Тебя словно уж нету до новой побудки, до новой пересменки.

Но в то майское утро я вдруг проснулся сам. Верней, не совсем тоже сам, а от звонкого удара в окно, от небывалого на улице крика, от конского топота.

Я как лежал накрытый рабочей своей стёганкой, так с этой стёганкой в руках за дверь и вылетел. Смотрю, а на улице впрямь невиданное зрелище. От избы к избе скачет сельсоветский мерин, на нём вёршая, но без седла и сама босая да в одном платышке председатель сельского Совета Клавдия Бурцева.

Мерин подковами намолачивает: гр-руп! Гр-руп! Гр-руп! А Клавдия хлещет берёзовой веткой по пролетающим мимо избяным окнам, кричит заполошным голосом:

— Вставайте! Вставайте! Вставайте!

И все, бухая дверями, выскакивают; вся улица полна женщин, стариков, старух, местных мальчишек, местных девчонок.

Смотрю, и наш бригадир Ваня тут. Я к нему:

— Что стряслось-то?

А он сгрёб меня, и хоть не шибко сильным был, а меня теперь до боли тиснул и орёт:

— Победа!

Я от радости туда-сюда засовался, ору тоже:

— В поля надо бежать! Кольку-сменщика известить! Петухова с его напарником известить!

Да вижу: и Колька мчится, а следом и другие наши ребята-трактористы к деревне бегут, спешат — Клавдия на чубаром-то успела облетать и окрестные поля.

И вот мы мечемся по деревне радостной толпой. Шумим, галдим, а что дальше делать — не знаем. Но сделать что-то надо, и тут опять подал голос бригадир Ваня:

— Гляньте, в Стрижатах воинский эшелон встал! Айда к нему: чего это мы, разини, топчемся на одном месте?

А мы и впрямь от счастья будто ослепли, хотя здешняя небольшая, но всегда звенящая паровозными гудками станция — от деревни подать рукой. Да и вся она — с тополями, со стрижами, с ласточками в синеве над башней водокачки — стоит на таком высоком взъёме, что её, наверно, видать за сто вёрст.

Только дело теперь не в этом красивом виде, а дело в том, что на станционных путях взаправду эшелон.

Воинский эшелон — с вагонами-теплушками, с танками на тяжёлых платформах. Паровоз укатил на заправку, и, куда направлен путь эшелона, мы не узнаем. Возможно, после боёв на передышку; возможно, после передышки всё ещё в сторону фронта, которого вот уже и не стало, но и это сейчас не самое важное для нас. А главное — там солдаты, там бойцы; там те, кто и подарил нам этот нынешний праздник!

И мы всей деревней, от мала до велика, вываливаемся за околицу. Мы бежим в гору к станции. Клавдия — с нами. Чубарого своего она покинула у чьего-то палисада и теперь сверкает голыми пятками по прохладной земле так, что и нам, пацанам да девчонкам, за ней не угнаться.

На самой же станции прямо возле колёс платформы, возле танков, прямо на сверкающих от мазутных лужиц, от весеннего света путях ликование похлеще нашего.

Тут пляс, музыка, гармоны! Лица плясунов из-под танкистских шлемов сияют. Шпалы, рель-

сы, путевая гулкая земля так под каблуками ходуном и ходят. А гармонь в руках танкиста-гармониста извивается, заливается. И вся она — в латках. Вся она бита-перебита, чинена-перечинена, сразу видно: повоевала и она. Повоевала, да вот задора не потеряла! Её голос лишь тогда захлебнулся, когда навалилась наша деревенская пёстрая ватага.

И тут опять пошли поздравленья, опять — кто в радостный смех, а кто и в плач.

Клавдия подлетает к самому пожилому танкисту. На нём, как на всех, тёмный комбинезон. Но по ремням, по фуражке, а больше по уверенному, хотя и тоже весёлому взгляду понятно: он надо всеми здесь главный.

Клавдия прямо ему и кричит:

— Товарищ командир! Товарищ командир! В Москве нынче салют за салютом, а в наших маленьких Стрижатах салюта нет... Так дайте я хоть просто вас обниму!

— Мы тоже! — вмиг зашумели Клавдины подружки-женщины.

— И мы! И мы! — завизжали в толпе девчонки, а командир шутливо загородился:

— Что вы! Обнимите лучше моих молодцов-бойцов... А салют будет! Он и маленьким Стрижатам положен.

И, откуда ни возмись — должно быть, подали танкисты, — в руке у него очутился большой, со странным дулом пистолет.

Командир стал его медленно поднимать. Мы, деревенские, в ожидании грома-выстрела втянули головы в плечи. Но командир отчего-то раздумал, почему-то стал смотреть на меня. Не на Клавдию стал смотреть, не на нашего бригадира, не на Кольку с Витькой, моих приятелей, которые вылезли вперёд, а на меня. И конечно, все тоже глядят теперь в мою сторону.



У меня на плечах промасленная стёганка. Она висит внакидку. Я её поправляю, на командира тоже взглядываю, думаю: «Чего это он? Может, я на его сына похож? Бывает...»

А командир и стёганку тянет к себе, и меня вместе с ней тянет, говорит:

— Тракторист, что ли?

Я не тушуюсь, отчеканиваю, как полагается:

— Так точно!

И все, особенно бойцы, засмеялись, а мой бригадир и наставник Ваня-Дедок весело доложил:

— Он за рулём почти всю войну. Почти от звонка до звонка.

— А чего ж ростом-то не вышел? Чего ж не подрос? Некогда было? — опять спрашивает командир, и вижу: он-то сам не смеётся нисколько, ничуть не улыбается. Всем вокруг весело, а ему — нет.

Тогда отвечаю без малейшей лихости:

— Выходит, некогда было... — Но тут же поднимаю голову: — Зато наверняка расти начну с нынешнего дня.

И командир засмеялся вместе со всеми, и вдруг пистолетище этот опустил мне прямо в ладонь:

— Ну, вот и дай салют! Дай салют за победу, за то, чтобы никакой войны больше не было никогда. Пусть это сбудется... Пли!

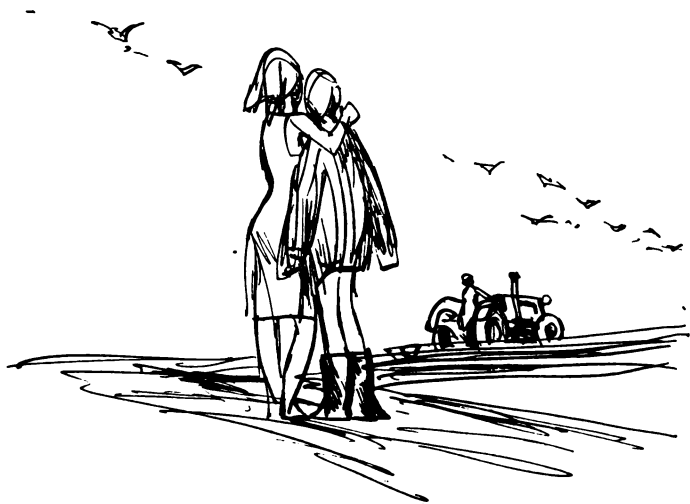
Как всё сразу у меня получилось, даже непонятно. Но только и пистолет я поднял, и гашетку нажал в один точный миг с командой. Толкнув мою ладонь, ударил выстрел — в синюю высоту пошла алая ракета.

Шла она долго. Полыхала ярко. И видели её, должно быть, в самых дальних сёлах, в деревнях и деревеньках. Видел её, наверное, каждый, кто глянул в эту минуту в сторону наших Стрижат.

А когда ракета рассыпалась звёздами, когда исчез даже дымок от неё, то вдруг стало ещё праздничней. Небо, облака, зелёные рощи, распаханные поля, солнечные за ними кровли и убегающие куда-то, может в сторону Москвы, весенние дороги — всё стало как бы ещё новей. И тут наши кинулись обнимать не только бойцов-танкистов, но и командира. Его принялись даже качать. А Клавдия так голосом и звенела, будто складывала вслух стихотворение или песню:

— Пускай сбываются ваши золотые слова всегда! Пускай не будет больше войны никогда!

И я — кричал. И я — будто пел. И честное слово, я в эту минуту рос! Мне казалось, я даже чувствовал: меня поднимают всё выше да выше чьи-то большие ладони.



Содержание

Попутчик	3
Огонёк	20
Промашка	33
Весточка	40
Косохлёст	49
Напарник	66
До завтрашнего вечера...	74
Салют в Стрижатах	89

Дорогие друзья!

Автор, художник и издательство
рады будут узнать ваше мнение
об этой книге и ее оформлении.

Пишите нам по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

Для младшего школьного возраста

Кузьмин Лев Иванович

САЛЮТ В СТРИЖАТАХ

Рассказы

Ответственный редактор Л. Г. Тихомирова. Художественный редактор Л. Д. Бирюков.
Технический редактор Е. В. Буташина. Корректоры Э. Н. Сизова, Л. В. Савельева.
ИБ № 11863

Сдано в набор 02.10.89. Подписано к печати 26.01.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 2.
Шрифт таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 6,3. Уч.-изд. л. 4,21. Тираж
150 000 экз. Заказ № 3176. Цена 50 к.

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература»
Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018,
Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»